

ФРАНСУАЗА
САГАН

ЗДРАВСТВУЙ,
ГРУСТЬ!



Annotation

Томимые жаждой настоящего чувства, герои Франсуазы Саган переживают минуты волшебного озарения и щемящей боли, обольщаются, разочаровываются, сомневаются и... верят безоглядно.

- [Франсуаза Саган](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
-

Франсуаза Саган

Здравствуй, грусть

*Прощай же грусть
И здравствуй грусть
Ты вписана в квадраты потолка
Ты вписана в глаза которые люблю
Ты еще не совсем беда
Ведь даже на этих бледных губах
Тебя выдает улыбка
Так здравствуй грусть
Любовь любимых тел
Могущество любви
Чья нежность возникает
Как бестелесное чудовище
С отринутой головой
Прекрасноликой грусти.*

Поль Элюар.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Это незнакомое чувство, преследующее меня своей вкрадчивой тоской, я не решаюсь назвать, дать ему прекрасное и торжественное имя — грусть. Это такое всепоглощающее, такое эгоистическое чувство, что я почти стыжусь его, а грусть всегда внушала мне уважение. Прежде я никогда не испытывала ее — я знала скуку, досаду, реже раскаяние. А теперь что-то раздражающее и мягкое, как шелк обволакивает меня и отчуждает от других.

В то лето мне минуло семнадцать, и я была безоблачно счастлива. «Окружающий мир» составляли мой отец и Эльза, его любовница. Я хочу сразу же объяснить создавшееся положение, чтобы оно не показалось ложным. Моему отцу было сорок лет, вдовел он уже пятнадцать. Это был молодой еще человек, жизнерадостный и привлекательный, и, когда два года назад я вышла из пансиона, я сразу поняла, что у него есть любовница. Труднее мне было примириться с тем, что они у него меняются каждые полгода! Но вскоре его обаяние, новая для меня беззаботная жизнь, мои собственные наклонности приучили меня к этой мысли. Отец был беспечный, но ловкий в делах человек, он легко увлекался — и так же быстро остывал — и нравился женщинам. Я тотчас полюбила его, и притом всей душой, потому что он был добр, щедр, весел и нежно ко мне привязан.

Лучшего друга я не могла бы и пожелать — я никогда не скучала с ним. В самом начале лета он был настолько мил, что даже осведомился, не будет ли мне неприятно, если Эльза, его теперешняя любовница, проведет с нами летние каникулы. Само собой, я развеяла все его сомнения: во-первых, я знала, что он не может без женщин, во-вторых, была уверена, что Эльза нас не обременит. Рыжеволосая высокая Эльза, нечто среднее между продажной девицей и дамой полусвета, была статисткой в киностудиях и в барах на Елисейских полях. Она была славная, довольно простая и без особых претензий. А кроме того, мы с отцом так хотели поскорее уехать из города, что смирились бы вообще с чем угодно. Отец снял на побережье Средиземного моря большую уединенную и восхитительную белую виллу, и мы стали мечтать о ней, едва настали первые жаркие дни июня. Вилла стояла на мысу, высоко над морем, скрытая от дороги сосновой рощей; козья тропа сбегала вниз к маленькой золотистой бухте, где среди рыжих скал плескалось море.

Первые дни были ослепительны. Разомлевшие от жары, мы часами

лежали на пляже и мало-помалу покрывались золотистым здоровым загаром — только у Эльзы кожа покраснела и облезала, причиняя ей ужасные мучения. Отец проделывал ногами какую-то сложную гимнастику, чтобы согнать намечающееся брюшко, несовместимое с его донжуанскими притязаниями. Я с раннего утра сидела в воде, в прохладной, прозрачной воде, окуналась в нее с головой, до изнеможения барахталась в ней, стараясь смыть с себя тени и пыль Парижа. Потом я растягивалась на берегу, зачерпывала целую горсть песка и, пропуская между пальцами желтоватую ласковую струйку, думала, что вот так же утекает время, что это нехитрая мысль и что нехитрые мысли приятны. Стояло лето.

На шестой день я в первый раз увидела Сирила. Он плыл на паруснике вдоль берега — у нашей бухточки парусник перевернулся. Я помогла ему выудить его пожитки, мы оба хохотали, и я узнала, что зовут его Сирил, он учится на юридическом факультете и проводит каникулы с матерью на соседней вилле. У него было лицо типичного южанина, смуглое, открытое, и в выражении что-то спокойное и покровительственное, что мне понравилось. Вообще-то я сторонилась студентов университета, грубых, поглощенных собой и еще более того — собственной молодостью: они видели в ней источник драматических переживаний или повод для скуки. Я не любила молодежь. Мне куда больше нравились приятели отца, сорокалетние мужчины, которые обращались ко мне с умиленной галантностью, в их обхождении сквозила нежность одновременно отца и любовника. Но Сирил мне понравился. Он был рослый, временами красивый, и его красота располагала к себе. Хотя я не разделяла отвращения моего отца к физическому уродству, отвращения, которое зачастую побуждало нас проводить время в обществе глупцов, все-таки в присутствии людей, лишенных всякой внешней привлекательности, я испытывала какую-то неловкость, отчужденность; их смирение перед тем, что они не могут нравиться, представлялось мне каким-то постыдным недугом. Ведь все мы добиваемся только одного — нравиться. Я по сей день не знаю, что кроется за этой жаждой побед — избыток жизненных сил или смутная, неосознанная потребность преодолеть неуверенность в себе и самоутвердиться.

На прощание Сирил предложил, что научит меня управлять парусником. Я вернулась к ужину, поглощенная мыслями о нем, и совсем или почти совсем не принимала участия в разговоре; я едва обратила внимание на то, что отец чем-то встревожен. После ужина, как всегда по вечерам, мы расположились в шезлонгах на террасе перед домом. Небо было усеяно звездами. Я смотрела на них в смутной надежде, что они до

срока начнут, падая, бороздить небо. Но было еще только начало июля, и звезды были недвижны. На усыпанной гравием террасе пели цикады. Наверное, много тысяч цикад, опьяненных зноем и лунным светом, ночи напролет издавали этот странный звук. Мне когда-то объяснили, что они просто трут одно о другое свои надкрылья, но мне больше нравилось думать, что эта песня, такая же стихийная, как весенние вопли котов, рождается в их гортани. Мы блаженствовали; только маленькие песчинки, забившиеся под блузку, мешали мне уступить сладкой дремоте. И тут отец кашлянул и выпрямился в шезлонге.

— К нам собираются гости, — сказал он.

— Я в отчаянии закрыла глаза. Так я и знала: слишком уж мирно мы жили это не могло долго продолжаться.

— Скажите же скорее, кто? — воскликнула Эльза, падкая на светские развлечения.

— Анна Ларсен, — ответил отец и обернулся ко мне. Я молча смотрела на него, я была слишком удивлена, чтобы отозваться на эту новость.

— Я предложил ей погостить у нас, когда ее утомит выставлать свои модели, и она... она приезжает.

Вот уж чего я меньше всего ждала. Анна Ларсен была давнишней подругой моей покойной матери и почти не поддерживала отношений с отцом. И однако, когда два года назад я вышла из пансиона, отец, не зная, что со мной делать, отправил меня к ней. В течение недели она научила меня одеваться со вкусом и вести себя в обществе. В ответ я прониклась к ней пылким восхищением, которое она умело обратила на молодого человека из числа своих знакомых. Словом, ей я была обязана первыми элегантными нарядами и первой влюбленностью и была преисполнена благодарности к ней. В свои сорок два года это была весьма привлекательная, изящная женщина с выражением какого-то равнодушия на красивом, гордом и усталом лице. Равнодушие — вот, пожалуй, единственное, в чем можно было ее упрекнуть. Держалась она приветливо, но отчужденно. Все в ней говорило о твердой воле и душевном спокойствии, а это внушало робость. Хотя она была разведена с мужем и свободна, молва не приписывала ей любовника. Впрочем, у нас был разный круг знакомых: она встречалась с людьми утонченными, умными, сдержанными, мы — с людьми шумными, неутомными, от которых отец требовал одного — чтобы они были красивыми или забавными. Думаю, Анна слегка презирала нас с отцом за наше пристрастие к развлечениям, к мишуре, как презирала вообще все чрезмерное. Связывали нас только

деловые обеды — она занималась моделированием, а отец рекламой, — память о моей матери да мои старания потому что я, хоть и робела перед ней, неизменно ею восхищалась. Но в общем ее внезапный приезд был совсем некстати, принимая во внимание Эльзу и взгляды Анны на воспитание.

Эльза засыпала нас вопросами о положении Анны в свете, а потом ушла спать. Оставшись наедине с отцом, я уселась на ступеньки у его ног. Он наклонился и положил обе руки мне на плечи.

— Радость моя, почему ты такая худышка? Ты похожа на бездомного котенка. А мне хотелось бы, чтобы моя дочь была пышной белокурой красавицей с фарфоровыми глазками:

— Не о том сейчас речь, — перебила я его. — Ты мне лучше скажи, почему ты пригласил Анну? И почему она согласилась приехать?

— Как знать, быть может, просто захотела повидать твоего старика отца.

— Ты не из тех мужчин, которые могут интересовать Анну, — сказала я. Она слишком умна и слишком себя уважает. А Эльза? Ты подумал об Эльзе? Ты представляешь себе, о чем будут беседовать Анна с Эльзой? Я — нет!

— Я об этом не подумал, — признался он. — Это и вправду ужасно. Сесиль, радость моя, а что, если мы вернемся в Париж?

Тихонько посмеиваясь, он трепал меня по затылку. Я обернулась и посмотрела на него. Его темные глаза в веселых морщинках блестели, губы чуть растянулись в улыбке, он был похож на фавна. Я рассмеялась вместе с ним, как всегда, когда он сам себе все усложнял.

— Милый мой сообщник! — сказал он. — Ну что бы я делал без тебя?

И голос его звучал такой нежной убежденностью, что я поняла — без меня он был бы несчастлив. До поздней ночи мы проговорили о любви и ее сложностях. Он считал, что все они вымышленные. Он неизменно отрицал понятия верности, серьезности отношений, каких бы то ни было обязательств. Он объяснял мне, что все эти понятия условны и бесплодны. В устах любого другого человека меня бы это коробило. Но я знала, что при всем том сам он способен испытывать нежность и преданность — чувства, которыми он проникался с тем большей легкостью, что был уверен в их недолговечности и сознательно к этому стремился. Мне нравилось такое представление о любви: скоропалительная, бурная и мимолетная. Я была в том возрасте, когда верность не прельщает. Мой любовный опыт был весьма скуден — свидания, поцелуи и быстрое охлаждение.

Глава вторая

Анна должна была приехать только через неделю. Я пользовалась последними днями настоящих каникул. Виллу мы сняли на два месяца, но я понимала, что с приездом Анны привольному житью придет конец. Присутствие Анны придавало вещам определенность, а словам смысл, которые мы с отцом склонны были не замечать. Она придерживалась строгих норм хорошего вкуса и деликатности, и это нельзя было не почувствовать в том, как она внезапно замыкалась в себе, в ее оскорбленном молчании, в манере выражаться. Это и подстегивало меня и утомляло, а в конечном счете унижало — ведь я чувствовала, что она права. В день ее приезда было решено, что отец с Эльзой поедут ее встречать на станцию Фрежюс. Я наотрез отказалась участвовать в этой затее. С горя отец оборвал в саду все гладиолусы, чтобы преподнести Анне букет, когда она сойдет с поезда. Я дала ему только один совет — не вручать цветы через Эльзу. В три часа, когда они уехали, я спустилась на пляж. Стояла изнурительная жара. Я растянулась на песке, задремала — меня разбудил голос Сирила. Я открыла глаза — небо было белое, в знойной дымке. Я не ответила Сирилу: мне не хотелось разговаривать с ним, да и вообще ни с кем. Раскаленное лето навалилось на меня, пригвоздило меня к пляжу: руки словно налились свинцом, во рту пересохло.

— Вы что, умерли? — спросил Сирил. — Издали вас можно принять за обломок крушения... Я улыбнулась. Он сел рядом со мной, случайно коснувшись рукой моего плеча, и мое сердце стремительно и глухо заколотилось. За последнюю неделю, благодаря моим блистательным навигационным маневрам, мы десятки раз оказывались за бортом в обнимку друг с другом, и я не чувствовала при этом ни малейшего волнения. Но сегодня жара, полудрема, неловкое прикосновение сделали свое дело, и что-то сладко оборвалось во мне. Я повернулась к Сирилу. Он смотрел на меня. Я уже немного узнала его: он был сдержан и более целомудрен, чем обычно бывают в его возрасте. Наш образ жизни и наша необычная семейная троица его шокировали. Он был слишком добр, а может, слишком робок, чтобы высказать мне свое мнение напрямик, но я угадывала его по косым, неодобрительным взглядам, какие Сирил бросал на отца. Ему было бы приятнее, если бы меня это смущало. Но этого не было, и смущал меня в данную минуту только взгляд Сирила и толчки моего собственного сердца. Он наклонился ко мне. Мне вспомнились

последние дни минувшей недели, мое доверие к нему, безмятежный покой, который я испытывала в его присутствии, и я пожалела о том, что ко мне приближается этот большой рот с крупными губами.

— Сирил, — сказала я, — нам было так хорошо... Он осторожно поцеловал меня. Я посмотрела на небо, потом больше уже ничего не видела, кроме огненных вспышек в зажмуренных глазах. Жара, дурман, вкус первых поцелуев, вздохи растянулись в долгие мгновения. Автомобильный гудок вспугнул нас, точно двух воришек. Я молча покинула Сирила и стала подниматься к дому. Меня удивило это раннее возвращение: поезд Анны еще не должен был прийти... И однако на террасе я увидела Анну — она выходила из своей машины.

— Да это просто замок Спящей Красавицы! — сказала она. Как вы загорели, Сесиль! Я очень рада вас видеть.

— Я тоже, — сказала я. — Но откуда же вы, из Парижа?

— Я решила приехать на машине и теперь чувствую себя совершенно разбитой.

Я отвела Анну в приготовленную для нее комнату. Потом открыла окно в надежде увидеть парусник Сирила, но он уже исчез. Анна села, на кровать. Под глазами у нее пролегли легкие тени.

— Вилла прелестна, — сказала она со вздохом. — А где же хозяин дома?

— Он с Эльзой поехал встречать вас на станцию. Я поставила ее чемодан на стул, обернулась и опешила. Анна внезапно изменилась в лице, губы у нее дрожали.

— С Эльзой Макенбур? Он привез сюда Эльзу Макенбур? Я не нашлась, что ответить. Я смотрела на нее в совершенной растерянности. Это лицо, всегда спокойное, невозмутимое, вдруг так обнажило себя передо мной, задав мне тысячу загадок... Она смотрела на меня невидящим взглядом сквозь образы, пробужденные в ней моими словами. Наконец заметила меня и отвернулась.

— Мне следовало вас предупредить, — сказала она. — Но я так торопилась, так устала...

— А теперь... — продолжала я машинально.

— Что теперь? — спросила она.

Взгляд был недоуменный, презрительный. Что, собственно говоря, произошло?

— Теперь вы приехали, — тупо сказала я и потерла руки. Знаете, я очень рада, что вы здесь. Я буду вас ждать внизу; если хотите чего-нибудь выпить, бар у нас отличный.

Я вышла, бормоча что-то бессвязное, и в полном смятении стала спускаться по лестнице. Что означает это выражение лица, этот дрогнувший голос, эта внезапная слабость? Я села в шезлонг и закрыла глаза. Я пыталась вспомнить обычные выражения строгого волевого лица Анны: ироническое, непринужденное, властное. Оказалось, что оно бывает беззащитным, это и тронуло меня, и раздосадовало. Неужели она любит моего отца? Возможно ли, что она его любит? Он совсем не в ее вкусе. Он человек слабый, легкомысленный, порой безвольный. Но, может, все объясняется просто дорожной усталостью и оскорбленной нравственностью? Битый час я терялась в догадках.

В пять часов приехали отец с Эльзой. Я смотрела, как он выходит из машины, и пыталась понять, может ли Анна его любить. Он шел быстрым шагом, слегка откинув голову назад. И улыбался. Я подумала — вполне возможно, что Анна его любит, какая угодно женщина может его полюбить.

— Анна не приехала, — крикнул он. — Надеюсь, она не выпала из вагона.

— Она у себя в комнате, — сказала я. — Она приехала на машине.

— Вот как! Отлично. В таком случае передай ей этот букет.

— Вы принесли мне цветы? — раздался голос Анны. — Очень мило.

Она спускалась по лестнице навстречу ему, спокойная, улыбающаяся, в платье, которое будто и не лежало в дорожном чемодане. Я с огорчением подумала, что она сошла вниз, только когда услышала, что приехала машина, а могла бы это сделать немного раньше, чтобы поболтать со мной, хотя бы о моем экзамене, на котором я, кстати сказать, провалилась! Последнее соображение меня утешило.

Отец бросился к ней, поцеловал ей руку.

— Я четверть часа простоял на платформе с букетом в руках и с дурацкой улыбкой на лице. Слава богу, вы все-таки приехали! Вы знакомы с Эльзой Макенбур?

Я отвела глаза.

— Мы, кажется, встречались, — ответила Анна самым любезным тоном. — Моя комната великолепна. Как мило с вашей стороны, Реймон, что вы пригласили меня погостить — я очень устала.

Отец просто из кожи вон лез. Ему казалось, что все шло как нельзя лучше. Он ораторствовал, откупоривал бутылки. Но перед моим мысленным взором попеременно возникало то страстное лицо Сирила, то лицо Анны — два лица, искаженных бурным душевным порывом, и я сомневалась, протекут ли наши каникулы так безмятежно, как полагает отец.

Наш первый ужин прошел очень весело. Отец и Анна говорили об общих знакомых, немногочисленных, но весьма колоритных. Я с удовольствием слушала их болтовню, пока Анна не объявила, что компаньон моего отца — микроцефал. Это был большой любитель выпить, но славный малый, и мы с отцом не однажды весело ужинали с ним втроем.

— Ломбар такой забавный, Анна, — возразила я. — С ним не соскучишься.

— Согласитесь, что он человек недалекий, и даже его юмор...

— Может, у него не совсем обычный склад ума, но...

— То, что вы называете складом ума, скорее можно назвать спадом, — снисходительно бросила она.

Краткость, законченность ее формулировки привели меня в восторг. Бывают фразы, от которых на меня веет духом изысканной интеллектуальности, и это покоряет меня, даже если я не до конца

их понимаю. Услышав фразу Анны, я пожалела, что у меня нет записной книжки и карандаша. Я сказала ей об этом. Отец рассмеялся.

— Во всяком случае, ты у меня не обидчива.

Мне не на что было обижаться, потому что в Анне не чувствовалось никакой недоброжелательности. Она была слишком равно-душна, и в ее суждениях отсутствовали категоричность и резкость, свойственные злости. Но от этого они становились лишь еще более меткими.

В этот первый вечер Анна, казалось, не заметила вольной или невольной рассеянности Эльзы, которая вошла прямо в спальню отца. Анна привезла мне в подарок свитер из своей коллекции моделей, но сразу пресекла поток моих благодарностей. Изъявления благодарности ей досаждали, а так как мне никогда не хватало красноречия для выражения восторга, я и не стала себя утруждать.

— По-моему, эта Эльза очень мила, — сказала Анна, когда я собралась уходить.

Она не улыбаясь смотрела мне прямо в глаза — она искала в них подозрение, которое во что бы то ни стало стремилась развеять. Она хотела заставить меня забыть, что в первую минуту не смогла сдержаться.

— Да-да, она очаровательная, гм, девушка... очень славная. Я запнулась. Она рассмеялась, а я ушла спать раздосадованная. Засыпая, я думала о том, что Сирил, наверное, танцует в Каннах с девицами.

Я чувствую, что опускаю, вынуждена опускать главное — присутствие моря, его неумолкающий ритмичный гул, солнце. Точно так же я не могла бы описать четыре липы во дворе провинциального пансиона, их аромат и

улыбку отца на вокзале два года назад, когда я вышла из пансиона, — улыбку смущенную, потому что у меня были косы и на мне было безобразное темное, почти черное платье. А потом в машине — внезапную вспышку торжествующей радости: он обнаружил, что у меня его глаза, его рот, и понял, что я могу стать для него самой любимой, самой восхитительной игрушкой. Я ничего не знала — он открыл мне Париж, роскошь, легкую жизнь. Наверное, большинством моих тогдашних удовольствий я обязана деньгам — наслаждением быстро мчаться в машине, надеть новое платье, покупать пластинки, книги, цветы. Я и по сей день не стыжусь этих легкомысленных удовольствий, да и называю их легкомысленными потому лишь, что их так называли при мне другие. Уж если я и стала бы о чем-то жалеть, от чего-то отречься, — так скорее от своих огорчений, от приступов мистицизма. Жажда удовольствий, счастья составляет единственную постоянную черту моего характера. Может, я слишком мало читала? В пансионе читают только нравоучительные книги. А в Париже мне читать было некогда: после занятий друзья затаскивали меня в кино — я не знала имен актеров, это их удивляло, — или на залитые солнцем террасы кафе. Я упивалась радостью смешаться с толпой, потягивать вино, быть с кем-то, кто заглядывает тебе в глаза, берет тебя за руку, а потом уводит прочь от этой самой толпы. Мы бродили по улицам, доходили до моего дома. Там он увлекал меня в подъезд и целовал: мне открылась прелесть поцелуев. Неважно, как звались эти воспоминания: Жан, Юбер или Жак — эти имена одинаковы для всех молоденьких девушек. Вечером я выросла, выезжала с отцом в общество, где мне было нечего делать, где собиралась довольно разношерстная компания, и я развлекалась и развлекала других своей юностью. На обратном пути отец высаживал меня у дома, а потом чаще всего провожал свою даму. Я не слышала, как он возвращался.

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто он афишировал свои связи. Он просто не скрывал их от меня, вернее, не искал фальшивых и благовидных предлогов, почему та или иная его приятельница так часто завтракает с нами или почему она водворяется у нас в доме — к счастью, временно! Так или иначе, я не-долго пребывала в неведении насчет того, какого рода отношения связывают его с нашими «гостями», а он, без сомнения, дорожил моим доверием и к тому же избавлял себя таким образом от обременительной необходимости изощряться в выдумках. Расчет был превосходен. Одна беда — я на некоторое время усвоила трезвый цинизм во взглядах на любовь, что, принимая во внимание мой возраст и жизненный опыт, выглядело скорее

смешным, чем страшным. Я охотно повторяла парадоксы, вроде фразы Оскара Уайльда: «Грех — это единственный яркий мазок, сохранившийся на полотне современной жизни». Я уверовала в эти слова, думаю, куда более безоговорочно, чем если бы применяла их на практике. Я считала, что моя жизнь должна строиться на этом девизе, вдохновляться им, рождаться из него как некий штамп наизнанку. Я не хотела принимать в расчет пустоты существования, его переменчивость, повседневные добрые чувства. В идеале я рисовала себе жизнь как сплошную цепь низостей и подлостей.

Глава третья

На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч солнца, которое затопило мою кровать и положило конец моим странным и сбивчивым сновидениям. Спросонок я пыталась отстранить этот назойливый луч рукой, потом сдалась. Было десять часов утра. Я в пижаме вышла на террасу-там сидела Анна и просматривала газеты. Я обратила внимание, что ее лицо едва заметно, без-укоризненно подкрашено. Должно быть, она никогда не давала себе полного отдыха. Так как она не повернулась в мою сторону, я преспокойно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям: я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот, и тотчас же — глоток обжигающего черного кофе, и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще пять минут — и я пойду купаться. Голос Анны заставил меня вздрогнуть.

— Сесиль, почему вы ничего не едите?

— По утрам я только пью, потому что...

— Вам надо поправиться на три кило, тогда вы будете выглядеть прилично. У вас щеки впали и все ребра можно пересчитать. Принесите себе бутерброды.

Я стала ее умолять, чтобы она не заставляла меня есть бутерброды, а она начала мне втолковывать, почему это необходимо когда появился отец в своем роскошном халате в горошек.

— Очаровательное зрелище, — сказал он. — Две девочки-смуглянки сидят на солнышке и беседуют о бутербродах.

— Увы, девочка здесь только одна, — сказала со смехом Анна. — Я ваша ровесница, бедный мой Реймон. Отец склонился над ее рукой.

— Злюка, как и всегда, — сказал он нежно, и веки Анны задрожали, точно от неожиданной ласки.

Я воспользовалась удобным случаем, чтобы улизнуть. На лестнице я столкнулась с Эльзой. Она явно только что встала — веки у нее набрякли, губы казались совсем бледными на багровом от солнечных ожогов лице. Я едва удержалась, чтобы не остановить ее и не сказать, что там, внизу, сидит Анна, и лицо у нее ухоженное и свежее, и загорать она будет без всяких неприятностей, постепенно, соблюдая меру. Я едва удержалась, чтобы ее не предостеречь. Но вряд ли это пришлось бы ей по вкусу: ей было двадцать девять лет, то есть на тринадцать лет меньше, чем Анне, и она считала это

своим главным козырем.

Я взяла купальник и побежала на пляж. К моему удивлению Сирил был уже там со своей лодкой. Он пошел мне навстречу с очень серьезным видом и взял меня за руки.

— Я хотел попросить у вас прощения за вчерашнее, — сказал он.

— Я сама виновата, — ответила я.

Я не чувствовала ни малейшего смущения, и его торжественный вид меня удивил.

— Я очень зол на себя, — сказал он и столкнул лодку в воду.

— И зря, — беззаботно сказала я.

— Совсем не зря!

Я уже забралась в лодку, а он стоял рядом по колени в воде, опершись руками на планшир, точно на барьер в суде. Я поняла, что он не сядет в лодку, пока не выговорится, и всем своим видом показала, что вся обратилась в слух. Я хорошо изучила его лицо и без труда читала на нем. Я подумала — ему двадцать пять лет, наверное, он считает себя совратителем, и при этой мысли меня разобрал смех.

— Не смейтесь, — сказал он. — Вчера вечером я очень разозлился на себя. Ведь вы беззащитны передо мной — ваш отец, эта женщина, дурной пример... Будь я последним подлецом, вы все равно способны были бы мне довериться...

Он даже не был смешон. Я чувствовала, что он добрый и готов влюбиться в меня и я сама не прочь в него влюбиться. Я обвила руками его шею, прижалась щекой к его щеке. У него были широкие плечи, и я ощущала телом его сильное тело.

— Вы славный, Сирил, — шепнула я. — Вы будете мне братом. С коротким гневным возгласом он обхватил меня руками и осторожно вытащил из лодки. Он держал меня на руках, прижав к себе, моя голова лежала у него на плече. В эту минуту я его любила. Он был такой же золотистый, милый и нежный, как я сама, и он меня оберегал. Когда его губы нашли мои, я, как и он, задрожала от наслаждения — в нашем поцелуе не было ни угрызений, ни стыда, было только жадное, прерываемое шепотом узнавание. Потом я вырвалась и поплыла к лодке, которую сносило течением. Я окунула лицо в воду, чтобы прийти в себя, освежиться... Вода была зеленая. Меня захлестнуло чувство беззаботного, безоблачного счастья.

В половине двенадцатого Сирил отправился домой, а на козьей тропе появился отец со своими двумя женщинами. Он шел посередине, поддерживая обеих, подавая руку то одной, то другой с присущей ему

одному любезной непринужденностью. Анна была в халате — она спокойно сбросила его под нашими пристальными взглядами и вытянулась на нем. Тонкая талия, безукоризненные ноги — только кое-где кожа чуть заметно увядала. Конечно, тут сказывались годы постоянных, неукоснительных забот. Вздернув бровь, я с невольным одобрением посмотрела на отца. К моему великому удивлению, он не ответил на мой взгляд и закрыл глаза. Бедняжка Эльза имела самый жалкий вид — она обмазывала себя оливковым маслом. Я не сомневалась: еще неделя, и мой отец... Анна обернулась ко мне.

— Сесиль, почему вы здесь так рано встаете? В Париже вы оставались в постели до полудня.

— Там мне приходилось заниматься. Это валило меня с ног. Она не улыбнулась; она улыбалась, только если ей хотелось, а из вежливости, как все люди — никогда.

— А ваш экзамен?

— Завалила, — бойко объявила я. — Завалила начисто.

— Вы должны непременно сдать его в октябре.

— Зачем? — вмешался отец. — У меня самого никогда не было диплома. А живу я припеваючи.

— У вас с самого начала было состояние, — напомнила Анна.

— А у моей дочери не будет недостатка в мужчинах, которые смогут ее прокормить, — благородно сказал отец.

Эльза засмеялась было, но осеклась, когда мы все трое посмотрели на нее.

— Надо ей позаниматься во время каникул, — сказала Анна и закрыла глаза, показывая, что разговор окончен.

Я с отчаянием посмотрела на отца. Он ответил мне смущенной улыбкой. Я представила себе, как я сижу над страницами Бергсона, черные строчки мозолят мне глаза, а внизу смеется Сирил... Эта мысль привела меня в ужас. Я подползла к Анне и тихо окликнула ее. Она открыла глаза. Я склонилась над ней с встревоженным и умоляющим видом, нарочно втянув щеки так, чтобы походить на человека, изнуренного умственным трудом.

— Анна, неужели вы это сделаете — неужели заставите меня заниматься в такую жару... во время каникул, которые я могла бы так хорошо провести...

Секунду она внимательно вглядывалась в меня, потом с загадочной улыбкой отвернулась.

— Мне следовало бы «это» сделать... и даже в такую жару, как вы выражаетесь. Я вас знаю, вы будете дуться на меня два дня, но зато экзамен

будет сдан.

— Есть вещи, с которыми нельзя примириться, — сказала я без улыбки.

Она посмотрела на меня с насмешливым вызовом, и я снова растянулась на песке, терзаемая беспокойством. Эльза что-то щебетала о курортных увеселениях. Но отец не слушал ее; сидя там, где находилась вершина треугольника, образуемого телами двух женщин, он бросал знакомые мне замедленные, бесстрашные взгляды на опрокинутый профиль Анны, на ее плечи. Кисть его руки плавным, равномерным, непрерывным движением сгребала и выпускала песок. Я побежала к морю и окунулась, оплакивая каникулы, которые у нас могли быть и которых теперь не будет. Зато у нас есть все, что необходимо для драмы: соблазнитель, дама полусвета и женщина трезвого ума. На дне я заметила вдруг восхитительную раковину — розовую с голубым. Я нырнула за ней и до самого обеда не выпускала ее из рук, гладкую, обкатанную. Я решила, что это мой талисман и я буду хранить его до конца лета. Не знаю, как это вышло, что я ее не потеряла, хотя всегда все теряю. Сейчас я держу ее в руке, розовую, теплую, и мне хочется плакать.

Глава четвертая

В последующие дни меня больше всего удивляло, как мило держит себя Анна с Эльзой. Эльза так и сыпала глупостями, но Анна ни разу не ответила на них одной из тех коротких фраз, в которых она была так искусна и которые превратили бы бедняжку Эльзу в посмешище. Я мысленно восхваляла ее за терпение и великодушие, не понимая, что тут замешана изрядная доля женской хитрости. Мелкие жестокие уколы быстро надоели бы отцу. А так он был благодарен Анне и не знал, как выразить ей свою признательность. Впрочем, признательность была только предлогом. Само собой, он обращался с ней как с женщиной, к которой питает глубокое уважение, как со второй матерью своей дочери: он даже охотно подчеркивал это, то и дело всем своим видом показывая, что поручает меня ее покровительству, отчасти возлагает на нее ответственность за мое поведение, как бы стремясь таким образом приблизить ее к себе, покрепче привязать ее к нам. Но в то же время он смотрел на нее, он обходился с ней как с женщиной, которую не знают и хотят узнать — в наслаждении. Так иногда смотрел на меня Сирил, и тогда мне хотелось и убежать от него подальше, и раззадорить его. Наверное, я была в этом смысле впечатлительной Анны. Она выказывала моему отцу невозмутимую, ровную приветливость, и это меня успокаивало. Я даже начала думать, что ошиблась в первый день; я не замечала, что эта безмятежная приветливость до крайности распаляет отца. И в особенности ее молчание... такое непринужденное, такое тонкое. Оно составляло разительный контраст с неумолкающей трескотней Эльзы, как тень со светом. Бедняжка Эльза... Она совершенно ни о чем не подозревала, оставалась все такой же шумной, говорливой и — как бы слиняла на солнце.

Но в один прекрасный день она, видимо, кое-что поняла, перехватила взгляд отца; перед обедом она что-то шепнула ему на ухо, на мгновение он нахмурился, удивился, потом с улыбкой кивнул. Когда подали кофе, Эльза встала и, подойдя к двери, обернулась с томным видом, по-моему, явно взятым напрокат из голливудских фильмов, и, вложив в свою интонацию десятилетний опыт уже чисто французской игривости, сказала:

— Вы идете, Реймон?

Отец встал, только что не покраснев, и последовал за ней, тол-куя что-то о пользе сиесты. Анна не шелохнулась. В кончиках ее пальцев дымилась

сигарета. Я решила, что должна что-то сказать.

— Говорят, сиеста — хороший отдых, но, по-моему, это заблуждение. Я осеклась, почувствовав двусмысленность моей реплики.

— Прошу вас, — сухо сказала Анна.

Она даже не заметила двусмыслицы. Она с первого мгновения определила шутку дурного тона. Я посмотрела на нее. У нее было нарочито спокойное, безмятежное выражение лица-оно меня тронуло. Как знать, может, в эту минуту она страстно завидовала Эльзе. Мне захотелось утешить ее, и у меня вдруг мелькнула циничная мысль, которая прельстила меня, как все циничные мысли, приходившие мне в голову: они давали какую-то уверенность в себе — опьяняющее чувство общности с самой собой. Я не удержалась и сказала вслух:

— Между прочим, поскольку Эльза сожгла себе кожу, навряд ли они или она получают удовольствие от этой сиесты.

Уж лучше бы мне промолчать.

— Я ненавижу подобные разговоры, — сказала Анна. — А в вашем возрасте они не только глупы, но и невыносимы. Я вдруг закусила удила.

— Извините, я пошутила. Уверена, что в конечном счете оба очень довольны.

Она обернула ко мне утомленное лицо. Я тотчас попросила прощения. Она закрыла глаза и заговорила тихим, терпеливым голосом:

— У вас несколько упрощенные представления о любви. Это не просто смена отдельных ощущений...

Я подумала, что все мои любовные переживания сводились именно к этому. Внезапное волнение при виде какого-то лица, от какого-то жеста, поцелуя... Упоительные, не связанные между собой мгновения — вот и все, что сохраняла моя память.

— Это нечто совсем иное, — говорила Анна. — Это постоянная нежность, привязанность, потребность в ком-то... Вам этого не понять.

Она сделала неопределенное движение рукой и взялась за газету. Я предпочла бы, чтобы она рассердилась, а не примирялась так равнодушно с моей эмоциональной несостоятельностью. Я подумала, что она права — я живу как животное, по чужой указке, я жалка и слаба. Я презирала себя, а это было на редкость не-приятное чувство, потому что я к нему не привыкла, — я себя не судила, если можно так выразиться, ни ради хвалы, ни ради хулы. Я поднялась к себе, в голове бродили смутные мысли. Я ворочалась на теплых простынях, в ушах все еще звучали слова Анны:

«Это нечто совсем иное, это постоянная потребность в ком-то». Испытала ли я хоть раз в жизни потребность в ком-нибудь?

Подробности этих трех недель изгладились из моей памяти. Я уже говорила, я не хотела замечать ничего определенного, никакой угрозы. Другое дело — дальнейшие события: они врезались мне в память, потому что поглотили все мое внимание, всю мою изобретательность. Но эти три недели, три первые, в общем счастливые недели... В какой именно день отец бросил откровенный взгляд на губы Анны и в какой громко упрекнул ее в равнодушии, притворяясь, будто шутит? Когда именно он уже без улыбки сопоставил изощренность ее ума с придурковатостью Эльзы? Мое спокойствие зиждилось на дурацкой уверенности, что они знакомы уже пятнадцать лет, и, уж если им суждено было влюбиться друг в друга, это давно бы случилось. «Впрочем, если этого не миновать, — убеждала я себя, — отец влюбится в Анну на три месяца, и из этого романа она вынесет кое-какие пылкие воспоминания и капельку унижения». Будто я не знала, что Анна не из тех женщин, кого бросают за здорово живешь. Но рядом был Сирил — и мои мысли были заняты им. Мы часто ходили по вечерам в кабачки Сен-Тропеза, танцевали под замирающие звуки кларнета и шептали друг другу слова любви, которые я наутро забывала, но которые так сладко звучали в миг, когда были произнесены. Днем мы плавали на паруснике вдоль берега. Иногда с нами плавал отец. Ему очень нравился Сирил, особенно с тех пор, как тот проиграл ему заплыв в кроле. Отец называл его «мой мальчик», Сирил называл отца «мсье», но я невольно задавалась вопросом, кто из них двоих взрослее.

Однажды нас пригласили на чай к матери Сирила. Это была спокойная, улыбчивая старая дама, она рассказывала нам о своих вдовьих и материнских заботах. Отец выражал ей сочувствие, бросал благодарные взгляды на Анну, рассыпался в любезностях перед старой дамой. Должна сказать, что ему вообще никогда не было жаль потерянного даром времени. Анна с милой улыбкой наблюдала эту сцену. Дома она заявила, что старушка очаровательна. Я стала бранить на чем свет стоит старых дам этого типа.

Отец с Анной посмотрели на меня со снисходительной и насмешливой улыбкой, и это вывело меня из себя.

— Не видите вы, что ли, до чего она самодовольна, — крикнула я. — Она гордится своей жизнью, потому что воображает, будто исполнила свой долг и...

— Но это так и есть, — сказала Анна. — Она исполнила, как говорится, свой долг супруги и матери...

— А свой долг шлюхи? — спросила я.

— Я не люблю грубостей, — сказала Анна, — даже в парадоксах.

— Это вовсе не парадокс. Она вышла замуж, как все на свете, до страсти или просто потому, что так получилось. Родила ребенка — вам известно, откуда берутся дети?

— Конечно, не так хорошо, как вам, — отозвалась Анна с иронией, — но кое-какое представление об этом у меня есть.

— Так вот она воспитала этого ребенка. Вполне возможно, что она не стала подвергать себя тревогам и неудобствам адюльтера. Но поймите — она жила, как живут тысячи женщин, а она этим гордится. Она смолоду была буржуазной дамой, женой и матерью, и пальцем не шевельнула, чтобы изменить свое положение. И похвастается она не тем, что совершила нечто, а тем, что чего-то не сделала.

— Какая нелепица, — возразил отец. — Да ведь это же приманка для дураков, — воскликнула я. Твердить себе: «Я выполнила свой долг», только потому, что ты ничего не сделала. Вот если бы она, родившись в буржуазном кругу, стала уличной девкой, она была бы молодчина.

— Все это модные, но дешевые рассуждения, — сказала Анна.

Пожалуй, она была права. Я верила в то, что говорила, но повторяла я это с чужого голоса. Тем не менее моя жизнь, жизнь моего отца подкрепляли эту теорию, и, презирая ее, Анна меня унижала. К мишуре можно быть приверженным не меньше, чем ко всему прочему. Но Анна вообще не желала признавать во мне мыслящее существо. Я чувствовала, что должна немедленно, во что бы то ни стало доказать ей, что она ошибается. Однако мне и в голову не приходило, что для этого так скоро представится удобный случай и я им воспользуюсь. Впрочем, я готова была признать, что через месяц буду придерживаться совсем других взглядов на тот же предмет, что мои убеждения изменятся. Где уж мне было претендовать на величие души!

Глава пятая

И вот в один прекрасный день все рухнуло. С утра отец решил, что мы проведем вечер в Каннах, поиграем и потанцуем. Помню, как обрадовалась Эльза. В привычной для нее атмосфере казино она надеялась вновь почувствовать себя роковой женщиной, чей образ несколько потускнел от палящего солнца и нашего полузатворнического образа жизни. Против моего ожидания Анна не стала противиться этой светской затее и даже как будто была до-вольна. Поэтому сразу после ужина я со спокойной душой поднялась к себе в комнату, чтобы надеть вечернее платье — кстати сказать, единственное в моем гардеробе. Его выбрал для меня отец; оно было сшито из какой-то экзотической ткани, пожалуй чересчур экзотической для меня, потому что отец, повинаясь то ли своим вкусам, то ли привычкам, любил одевать меня под роковую женщину. Я сошла вниз, где он ждал в ослепительном новом смокинге, и обвила руками его шею.

— Ты самый красивый мужчина из всех, кого я знаю.

— Не считая Сирила, — сказал он, сам не веря в то, что говорит. А ты-ты самая хорошенькая девушка из всех, кого я знаю.

— После Эльзы и Анны, — сказала я, тоже не веря собственным словам.

— Но раз их здесь нет и они заставляют себя ждать, потанцуй со своим старым ревматиком отцом.

Меня охватило радостное возбуждение, как всегда, когда мы с ним куда-нибудь выезжали. Он и в самом деле ничем не напоминал старика-отца. Танцуя, я вдыхала знакомый запах — его одеколona, тепла его тела, его табака. Он танцевал ритмично, полузакрыв глаза, как и я, слегка улыбаясь счастливой улыбкой, которая неудержимо рвалась с его губ.

— Ты должна научить меня танцевать би-боп, — сказал он, позабыв о своем ревматизме.

Он остановился, машинальным любезным бормотаньем приветствуя появление Эльзы. Она медленно спускалась по лестнице в зеленом платье с рассеянной светской улыбкой на губах — улыбкой, какую она пускала в ход в казино. Она постаралась представить в наиболее выгодном свете свои выгоревшие на солнце волосы и облезшую кожу, но ее похвальные усилия увенчались сомнительным успехом. К счастью, она этого, по-видимому, не понимала.

— Ну как, мы едем?

— Анны еще нет, — сказала я.

— Пойди посмотри, готова ли она, — сказал отец. — Пока мы доберемся до Канн, будет полночь.

Я поднялась по ступенькам, путаясь в длинном платье, и постучалась к Анне. Она крикнула: «Войдите». Я так и приросла к порогу. На ней было серое платье, удивительного серого цвета, почти белого, который, словно предрассветное небо, отливал какими-то оттенками морской волны. Казалось, в этот вечер в Анне воплотилось все очарование зрелой женственности.

— Изумительно, — сказала я. — О, Анна, какое платье! Она улыбнулась своему отражению в зеркале, как улыбаются кому-то, с кем предстоит скорая разлука.

— Да, этот серый цвет в самом деле находка, — сказала она.

— Вы сами — находка, — сказала я.

Она взяла меня за ухо, заглянула мне в лицо. Глаза у нее были темно-голубые. Они просветлели, улыбнулись.

— Вы милая девочка. Хотя порой бываете несносной.

Она пропустила меня вперед, ничего не сказав о моем платье, что я отметила с облегчением, но и с обидой. По лестнице она спускалась первой, и я видела, как отец пошел ей навстречу. У подножия лестницы он остановился, поставив ногу на нижнюю ступеньку и подняв к Анне лицо. Эльза тоже следила, как Анна спускается по лестнице. Я очень четко помню эту картину: на первом плане прямо передо мной золотистый затылок, великолепные плечи Анны, чуть пониже ослепленное лицо отца, его протянутая рука и где-то вдали силуэт Эльзы.

— Анна, — сказал отец. — Вы несравненны. Она мимоходом улыбнулась ему и надела поданное ей пальто.

— Встретимся на месте, — сказала она. — Сесиль, хотите поехать со мной?

Она уступила мне место за рулем. Ночная дорога была так хороша, что я вела машину не торопясь. Анна молчала. Казалось, она даже не слышала, как надрываются трубы в приемнике. Машина отца обогнала нас на крутом повороте, но она даже бровью не повела. Я почувствовала, что вышла из игры, что присутствую на спектакле, в который уже не могу вмешаться.

В казино, благодаря ухищрениям отца, мы очень скоро потеряли друг друга из виду. Я очутилась в баре с Эльзой и ее знакомым полупьяным южноамериканцем. Он занимался театром и, несмотря на винные пары, рассказывал очень интересно, как человек, увлеченный своим делом. Я довольно приятно провела в его обществе около часа, но Эльза сучала.

Она была знакома с одной или двумя театральными знаменитостями, но вопросы ремесла ее ничуть не интересовали. Она вдруг спросила меня, где мой отец, будто я имела об этом хоть малейшее представление, и исчезла. Южноамериканец на мгновение, кажется, огорчился, но очередная порция виски поправила его настроение. Я ни о чем не думала, я была приятно возбуждена, так как из вежливости участвовала в его возлияниях. Все стало еще более забавным, когда он захотел танцевать. Мне пришлось обхватить его обеими руками и зорко следить, чтобы он не отдал мне ноги, а это требовало немалых усилий. Мы оба хохотали до упаду, так что, когда Эльза с видом Кассандры хлопнула меня по плечу, я готова была послать ее к черту.

— Я их не нашла, — сказала она.

Лицо у нее было удрученное, пудра с него уже осыпалась, стала видна сожженная кожа, черты заострились. Выглядела она довольно жалко. Я вдруг страшно рассердилась на отца. Он вел себя возмутительно невежливо.

— А-а! Я знаю, где они, — сказала я, улыбнувшись с таким видом, точно их отсутствие было самой естественной вещью на свете и беспокоиться не о чем. Я мигом.

Лишившись моей поддержки, южноамериканец рухнул в объятия Эльзы и, кажется, был этим доволен. Я с грустью подумала, что у нее куда более роскошные формы, чем у меня, и что я не могу на него сердиться. Казино было большое, я обошла его дважды, но без толку. Я обшарила все террасы и наконец вспомнила о машине.

Я не сразу нашла ее в парке. Они сидели в ней. Я подошла сзади и увидела их в зеркале. Увидела два профиля, близко-близко друг от друга, очень серьезные и удивительно прекрасные в свете фонаря. Они смотрели друг на друга и, должно быть, о чем-то тихо разговаривали — я видела, как шевелятся их губы. Я хотела было уйти, но вспомнила об Эльзе и распахнула дверцу.

Рука отца лежала на запястье Анны. Они едва взглянули на меня.

— Вам весело? — вежливо спросила я.

— В чем дело? — раздраженно спросил отец. — Что тебе здесь надо?

— А вам? Эльза уже целый час ищет вас повсюду. Анна медленно, будто нехотя, повернулась ко мне.

— Мы уезжаем. Скажите ей, что я устала и что ваш отец отвез меня домой. Когда вы вдоволь навеселитесь, вы вернетесь в моей машине.

Я задрожала от негодования, я не находила слов.

— Навеселимся вдоволь! Да вы понимаете, что говорите? Это

отвратительно!

— Что отвратительно? — с удивлением спросил отец.

— Ты привозишь рыжую девушку к морю, под палящее солнце, которого она не переносит, а когда она вся облезла, ты ее бросаешь. Это слишком просто! А я — что я скажу Эльзе?

Анна с усталым видом опять обернулась к нему. Он улыбался, ей, меня он не слушал. Я дошла до полного отчаяния:

— Ладно, я скажу... скажу ей, что отец хочет спать с другой дамой, а она пусть подождет удобного случая, так что ли?

Возглас отца и звук пощечины, которую мне отвесила Анна, раздались одновременно. Я проворно отпрянула от открытой дверцы. Анна ударила меня очень больно.

— Проси прощения, — сказал отец.

В полном смятении я застыла у дверцы машины. Благородные позы всегда приходят мне на ум с запозданием.

— Подойдите сюда, — сказала Анна.

В ее голосе не было угрозы, и я подошла. Она коснулась рукой моей щеки и заговорила мягко, с расстановкой, как говорят с недоумками:

— Не будьте злюкой, мне очень жаль Эльзу. Но при вашей деликатности вы сумеете все уладить. А завтра мы все объясним. Я вам сделала больно?

— Нет, что вы, — вежливо ответила я. Оттого что она вдруг стала такая ласковая, а я только что так необузданно вспылила, я едва не расплакалась. Они уехали — я смотрела им вслед, чувствуя себя опустошенной. Единственным моим утешением была мысль о моей собственной деликатности. Я неторопливо вернулась в казино, где меня ждала Эльза и повисший на ее руке южноамериканец.

— Анне стало плохо, — непринужденно объявила я. — Папе пришлось отвезти ее домой. Выпьем чего-нибудь?

Она смотрела на меня, не говоря ни слова. Я попыталась найти убедительную деталь.

— У нее началась рвота, — сказала я. — Ужас, она испортила себе все платье.

Мне казалось, что эта подробность потрясающе правдива, но Эльза вдруг заплакала, тихо и жалобно. Я в растерянности уставилась на нее.

— Сесиль, — сказала она. — Ах, Сесиль, мы были так счастливы...

И она зарыдала громче. Южноамериканец заплакал тоже и все повторял: «Мы были так счастливы, так счастливы». В эту минуту я ненавидела Анну и отца. Я готова была на все, что угодно, лишь бы Эльза

перестала плакать и тушь не стекала бы с ее ресниц, и американец не рыдал бы больше.

— Еще не все потеряно, Эльза. Поедьте со мной.

— Я приду на днях за своими вещами, — прорыдала она. Прощайте, Сесиль, мы всегда ладили друг с другом.

Мы обычно говорили с ней только о погоде и модах, но сейчас мне казалось, что я теряю старого друга. Я круто повернулась и побежала к машине.

Глава шестая

Утреннее пробуждение было мучительным — наверняка из-за того, что накануне я выпила много виски. Я проснулась, лежа поперек кровати, в темноте, с неприятным вкусом во рту, в отвратительной испарине. В щели ставен пробивался солнечный луч — в нем сомкнутым строем вздымались пылинки. Мне не хотелось ни вставать, ни оставаться в постели. У меня мелькнула мысль, каково будет отцу и Анне, если Эльза вернется сегодня утром. Я старалась думать о них, чтобы заставить себя встать, но тщетно. Наконец я преодолела себя и, понурая, несчастная, оказалась на прохладных плитах пола. Зеркало являло мне унылое отражение — я внимательно вглядывалась в него: расширенные зрачки, опухший рот, это чужое лицо — мое... Неужели я могу чувствовать себя слабой и жалкой только из-за этих вот губ, искаженных черт, из-за того, что я произвольно втиснута в эти ненавистные рамки? Но если я и в самом деле втиснута в эти рамки, почему мне дано убедиться в этом таким безжалостным и тягостным для меня образом? Я упивалась тем, что презираю себя, ненавижу свое злое лицо, помятое и подурневшее от разгула. Я стала глухо повторять слово «разгул», глядя себе в глаза, и вдруг заметила, что улыбаюсь. В самом деле, хорош разгул: несколько жалких рюмок, пощечина и слезы. Я почистила зубы и сошла вниз.

Отец с Анной уже сидели рядом на террасе, перед ними стоял поднос с утренним завтраком. Я невнятно пробормотала: «Доброе утро» — и села напротив. Из стыдливости я не решалась на них смотреть, но их молчание вынудило меня поднять глаза. Лицо Анны слегка осунулось — это был единственный след ночи любви. Оба улыбались счастливой улыбкой. Это произвело на меня впечатление — счастье всегда было в моих глазах залогом правоты и удачи.

— Хорошо спала? — спросил отец.

— Так себе, — ответила я. — Я выпила вчера слишком много виски.

Я налила себе кофе, жадно отхлебнула глоток, но тут же отставила чашку. Было в их молчании что-то такое — какое-то ожидание, от которого мне стало не по себе. Я слишком устала, чтобы долго его выдерживать.

— Что происходит? У вас обоих такой загадочный вид. Отец зажег сигарету, стараясь казаться спокойным. Анна посмотрела на меня против обыкновения в явном замешательстве.

— Я хотела вас кое о чем попросить. Я приготовилась к худшему.

— Опять что-нибудь передать Эльзе?

Она отвернулась, снова обратила взгляд к отцу.

— Ваш отец и я — мы хотели бы пожениться, — сказала она. Я пристально посмотрела на нее, потом на отца. Я ждала от него знака, взгляда, который покоробил бы меня, но и успокоил. Он рассматривал свои руки. Я подумала: «Не может быть», но я уже знала, что это правда.

— Очень хорошая мысль, — сказала я, чтобы выиграть время. У меня не укладывалось в голове: отец, который всегда так упорно противился браку, каким бы то ни было оковам, в одну ночь решился... Это переворачивало всю нашу жизнь. Мы лишались своей независимости. Я вдруг представила себе нашу жизнь втроем — жизнь, внезапно упорядоченную умом, изысканностью Анны, — ту жизнь, какую вела она на зависть мне. Умные, тактичные друзья, счастливые, спокойные вечера... Я вдруг почувствовала презрение к шумным застольям, к южноамериканцам и разным эльзам. Чувство превосходства и гордости ударило мне в голову.

— Очень, очень хорошая мысль, — повторила я и улыбнулась им.

— Я знал, что ты обрадуешься, котенок, — сказал отец. Он успокоился, развеселился. Заново прорисованное любовной истомой лицо Анны было таким открытым и нежным, каким я его никогда не видела.

— Подойди сюда, котенок, — сказал отец. Он протянул мне обе руки, привлек меня к себе, к ней. Я опустилась перед ними на колени, они оба смотрели на меня с ласковым волнением, гладили меня по голове. А я — я неотступно думала, что, может быть, в эту самую минуту меняется вся моя жизнь, но что я для них и в самом деле всего только котенок, маленький преданный зверек. Я чувствовала, что они где-то надо мной, что их соединяет прошлое, будущее, узы, которые мне неведомы и от которых я свободна. Я намеренно закрыла глаза, уткнулась головой в их колени, смеялась вместе с ними, вновь вошла в свою роль. Да и почему бы мне не быть счастливой? Анна прелесть, ей чужды какие бы то ни было мелочные побуждения. Она будет руководить мною, снимет с меня бремя ответственности за мои поступки, что бы ни случилось, наставит на истинный путь. Я стану верхом совершенства, а заодно и мой отец.

Отец встал и вышел за бутылкой шампанского. Мне вдруг стало противно. Он счастлив — это, конечно, главное, но я уже столько раз видела его счастливым из-за женщины...

— Я немного побаивалась вас, — сказала Анна.

— Почему? — спросила я.

Послушать ее — я своим запретом могла помешать двум взрослым

людям пожениться.

— Я опасалась, что вы меня боитесь, — сказала она и засмеялась.

Я тоже засмеялась, потому что я ведь и вправду ее побаивалась. Она давала мне понять, что она это знает и что мой страх напрасен.

— Вам кажется смешным, что старики решили пожениться?

— Какие же вы старики? — возразила я с подобающим случаю убеждением, потому что в эту минуту, вальсируя, вошел отец с бутылкой.

Он сел рядом с Анной, обвил рукой ее плечи. Она вся подалась к нему движением, которое заставило меня потупить. Вот почему она и согласилась выйти за него — из-за его смеха, из-за этой сильной, внушающей доверие руки, из-за его жизнелюбия, из-за тепла, которое он излучает. Сорок лет, страх перед одиночеством, быть может, последние всплески чувственности... Я привыкла смотреть на Анну не как на женщину, а как на некую абстракцию: я видела в ней уверенность в себе, элегантность, интеллект и ни тени чувственности или слабости... Я понимала, как гордится отец: надменная, равнодушная Анна Ларсен будет его женой. Любит ли он ее, способен ли любить долго? Есть ли разница между его чувством к ней и тем, что он питал к Эльзе? Я закрыла глаза, солнце меня сморило. Мы сидели на террасе в атмосфере недомолвок, тайных страхов и счастья.

Все эти дни Эльза не показывалась. Неделя пролетела быстро. Семь счастливых, ничем не омраченных дней — только семь. Мы строили замысловатые планы, как мы обставим квартиру, какой у нас будет распорядок дня. Мы с отцом развлекались, стараясь уплотнить его до отказа, усложняли с безответственностью тех, кто никогда не знал никакого распорядка. Но неужели мы верили в это всерьез? Неужели отец и впрямь собирался изо дня в день возвращаться в половине первого к обеду в одно и то же место, ужинать дома и потом никуда не уходить? И однако, он с радостью отрекался от своих богемных привычек, восхвалял порядок, элегантную, размеренную жизнь буржуазного круга. Но наверняка для него, как и для меня, все это были лишь умозрительные построения.

Об этой неделе у меня сохранились воспоминания, в которых я теперь люблю копаться, чтобы себя помучить. Анна была безмятежной, доверчивой, удивительно мягкой, отец ее любил. По утрам они выходили рука об руку, дружно смеясь, с синими кругами вокруг глаз, и, клянусь, я хотела бы, чтобы так продолжалось всю жизнь. Вечерами мы часто отправлялись на побережье выпить аперитив на террасе какого-нибудь кафе. Нас повсюду принимали за обыкновенную дружную семью, и мне, привыкшей всегда появляться вдвоем с отцом и встречать лукавые или

сострадательные улыбки и взгляды, нравилось выступать в роли, соответствующей моему возрасту. Свадьба должна была состояться в Париже по возвращении.

Бедняжка Сирил был несколько ошарашен нашими домашними преобразованиями. Но этот узаконенный конец пришелся ему по душе. Мы вдвоем плавали на паруснике, целовались, если приходила охота, и порой, когда он прижимался своими губами к моим, мне вспоминалось лицо Анны, чуть изможденное лицо, каким оно у нее бывало по утрам, вспоминалась та медлительность, та счастливая небрежность, какую любовь придавала ее движениям, и я завидовала ей. Поцелуи быстро выдыхаются, и, конечно, люби меня Сирил меньше, я бы в ту неделю стала его любовницей.

В шесть часов, возвращаясь из плавания к островам, Сирил втаскивал лодку на песчаный берег. Мы шли к дому через сосновую рощу и, чтобы согреться, затевали веселую возню, бегали взапуски. Он всегда нагонял меня неподалеку от дома, с победным кличем бросался на меня, валил на усыпанную хвойными иглами землю, скручивал руки и целовал. Я и сейчас еще помню вкус этих задыхающихся, бесплодных поцелуев и как стучало сердце Сирила у моего сердца в унисон с волной, плещущей о песок... Раз, два, три, четыре — стучало сердце, и на песке тихо плескалось море-раз, два, три... Раз — он начинал дышать ровнее, поцелуи становились уверенней, настойчивей, я больше не слышала плеска моря, и в ушах отдавались только быстрые, непрерывные толчки моей собственной крови.

Однажды вечером нас разлучил голос Анны. В свете заката, где перемежались красноватые блики и тени, мы с Сирилом, полуголые, лежали рядом — понятно, что это могло ввести Анну в заблуждение. Она резко окликнула меня по имени.

Одним прыжком Сирил вскочил на ноги и, само собой, смутился. Я тоже встала, но не так поспешно и поглядела на Анну. Она обернулась к Сирилу и тихо сказала, как бы не замечая его:

— Надеюсь, я вас больше не увижу.

Он не ответил, наклонился ко мне и, прежде чем уйти, поцеловал меня в плечо. Этот порыв удивил и растрогал меня, будто Сирил дал мне какой-то обет. Анна пристально смотрела на меня все с тем же серьезным отрешенным выражением, точно думала о чем-то другом. Меня это разозлило: если думает о другом, могла бы поменьше говорить. Я подошла к ней, притворяясь смущенной просто из вежливости. Она машинально сняла с моей шеи сосновую иголку и только тут как будто впервые увидела меня. И сразу на ее лице появилась та великолепная презрительная маска,

то выражение усталости и неодобрения, которые так удивительно красили ее, а мне внушали робость.

— Вам бы следовало знать, что такого рода развлечения, как: правило, кончаются клиникой, — сказала она.

Она говорила стоя и не сводя с меня взгляда, и мне было ужасно не по себе. Она принадлежала к числу тех женщин, которые могут разговаривать, держась прямо и неподвижно. Мне же нужно было развалиться в кресле, вертеть в руках какой-нибудь предмет, курить сигарету или покачивать ногой и смотреть, как она качается...

— Не стоит преувеличивать, — смеясь, сказала я. — Я только поцеловалась с Сирилом, вряд ли это приведет меня в клинику.

— Я прошу вас больше с ним не встречаться, — сказала она таким тоном, точно считала, что я лгу. — Не возражайте — вам семнадцать лет, я теперь в какой-то мере отвечаю за вас и не до-пущу, чтобы вы портили себе жизнь. Кстати, вам необходимо заниматься, это заполнит ваш дневной досуг.

Она повернулась ко мне спиной и пошла к дому своей непринужденной походкой. А я, потрясенная, словно приросла к месту. Она верит в то, что говорит, — все мои доводы, возражения она примет с тем равнодушием, которое хуже презрения, будто я и не существую вовсе, будто я — это не я, не та самая Сесиль, которую она знает с рождения, не я, которую, в конце концов, ей, должно быть, тяжело наказывать, а неодушевленный предмет, который надо водворить на место. Вся моя надежда была на отца. Наверное, он скажет, как всегда: «Что это за мальчуган, котенок? Надеюсь, он по крайней мере красив и здоров? Берегись распутников, детка». Он должен сказать именно это — не то прости-прощай мои каникулы.

Ужин прошел как в кошмарном сне. Анне и в голову не пришло предложить мне: «Я не стану ничего рассказывать отцу, я не доносица, но дайте мне слово, что будете прилежно заниматься». Такого рода сделки были не в ее характере. Это и радовало и злило меня — ведь в противном случае у меня был бы повод ее презирать. Но она избежала этого промаха, как и всех других, и, только когда подали второе, вдруг как будто вспомнила о происшествии.

— Реймон, я хотела бы, чтобы вы дали кое-какие благоразумные наставления вашей дочери. Сегодня вечером я застала ее в сосновой роще с Сирилом, и, судя по всему, отношения у них самые короткие.

Отец, бедняжка, попытался обратить все в шутку.

— Ай-ай-ай, что я слышу? Что же они делали?

— Я его целовала, — с жаром крикнула я. — А Анна подумала...

— Я ничего не подумала, — отрезала она. — Но полагаю, что ей лучше некоторое время не видеться с ним и заняться своей философией.

— Бедное мое дитя, — сказал отец, — Надеюсь, этот Сирил хоть славный мальчик?

— Сесиль тоже славная девочка, — сказала Анна. — Вот почему я была бы очень огорчена, если бы с ней случилась беда. А поскольку она здесь предоставлена самой себе, постоянно проводит время с этим мальчиком и оба они бездельничают, беды, по-моему, не избежать. А вы в этом сомневаетесь?

При словах: «А вы в этом сомневаетесь?» — я подняла глаза. Отец в полном смущении потупился.

— Вы, безусловно, правы, — сказал он. — Конечно, в общем-то тебе надо немного позаниматься, Сесиль. Ты ведь не хочешь провалиться по философии?

— Мне все равно, — буркнула я.

Он посмотрел на меня и тут же отвел глаза. Я была сражена. Я понимала, что беззаботность — единственное чувство, которое было содержанием нашей жизни, — не располагала аргументами для самозащиты.

— Ну вот что, — сказала Анна, поймав под столом мою руку. — Вы откажетесь от роли лесной дикарки ради роли хорошей ученицы, но всего на один месяц, ведь это не страшно, верно?

Она и он смотрели на меня с улыбкой, в этих условиях спорить было бесполезно. Я осторожно отняла руку.

— Нет, — сказала я, — очень даже страшно.

Я сказала это так тихо, что они не расслышали, а может быть, не захотели расслышать. На другое утро я сидела над фразой Бергсона — я потратила несколько минут, чтобы ее понять: «Сколь различны ни казались бы на первый взгляд факты и их причины и хотя по правилам поведения нельзя заключить о сути вещей, мы неизменно черпаем стимул для любви к человечеству только из неразрывной связи с исходным принципом человеческого рода». Я повторяла эту фразу сначала тихо, чтобы не растревать себя, потом в полный голос. Я внимательно вглядывалась в нее, обхватив голову руками. Наконец я ее поняла, но чувствовала себя такой же холодной и бездарной, как когда прочла ее в первый раз. Продолжать я не могла: я вчитывалась в следующие строчки с прежним усердием и готовностью, как вдруг какой-то вихрь всколыхнулся во мне и швырнул меня на кровать. Я подумала о Сириле, который ждал

меня в золотистой бухточке, о тихом покачивании лодки, о вкусе наших поцелуев и — об Анне. Подумала о ней так, что села на кровати с сильно бьющимся сердцем, твердя себе, что это глупо и чудовищно, что я просто ленивая, избалованная девчонка и не вправе позволить себе так думать. Но против воли мне лезли в голову мысли — мысли о том, что она зло-вредна и опасна и необходимо убрать ее с нашего пути. Я вспомнила о только что кончившемся завтраке, за которым я не разжимала губ. Уязвленная, осунувшаяся от обиды, чувствуя, что презираю себя, что мои переживания смешны... Да, именно в этом я и винила Анну: она мешала мне любить самое себя. От природы созданная для счастья, улыбок, беззаботной жизни, я из-за нее вступила в мир угрызений и нечистой совести и, совершенно не привыкшая к самоанализу, безнадежно погрязла в нем. А что она могла мне предложить взамен? Я взвешивала ее силу: захотела получить моего отца — и получила. Понемногу она превратит нас в мужа и падчерицу Анны Ларсен, то есть в цивилизованных, хорошо воспитанных и счастливых людей. Ведь она и вправду даст нам счастье. Я предвидела, с какой легкостью наши уступчивые натуры поддадутся соблазну заключить себя в рамки и сложить с себя всякую ответственность. Слишком велико ее влияние на нас. Я уже начала терять отца — его смущенное, отвернувшееся от меня за столом лицо мучало, преследовало меня. Я едва ли не со слезами вспоминала о нашем былом сообщничестве, о том, как мы смеялись, возвращаясь под утро в машине по светлеющим улицам Парижа. Всему этому настал конец. Меня Анна тоже приберет к рукам, будет вертеть и распоряжаться мною. И я даже не почувствую себя несчастной, она будет действовать умно, с помощью иронии и ласки, и я не смогу — а через полгода уже и не захочу — ей сопротивляться.

Нет, я должна во что бы то ни стало встряхнуться, вернуть. отца и нашу былую жизнь. Какими пленительными показались мне вдруг два минувших года, веселых и суматошных, два года, от которых еще недавно я с такой легкостью готова была отречься... Иметь право думать что хочешь, думать дурно или вообще почти не думать, право жить, как тебе нравится, быть такой, как тебе нравится. Не могу сказать «быть самой собой», потому что" я всего только податливая глина, но иметь право отвергать навязанную тебе форму.

Я понимаю, что перемену моего настроения можно объяснить сложными мотивами, что мне можно приписать великолепнейшие комплексы: кровосмесительную любовь к отцу или болезненную страсть к Анне. Но я — то знаю подлинные причины: жара, Бергсон, Сирил или, во всяком случае, отсутствие Сирила. До самого вечера я размышляла об этом,

пройдя все степени тяжелого настроения, вызванного одним открытием — что мы во власти Анны. Я не привыкла к долгим раздумьям и стала раздражительной. За столом, как и утром, я не открывала рта. Отец счел своим долгом пошутить:

— Люблю молодежь за живость и разговорчивость...

Я метнула в него пронзительный, жесткий взгляд. Что правда, то правда, он любил молодежь, и с кем же, как не с ним, я обычно болтала? Мы болтали обо всем: о любви, о смерти, о музыке. Но он бросил меня, он сам сделал меня безоружной. Я смотрела на него, я думала: «Ты больше не любишь меня так, как прежде, ты меня предаешь», — и старалась без слов внушить ему свои мысли. Я переживала самую настоящую трагедию. Он тоже взглянул на меня и вдруг растревожился, быть может, поняв, что это не игра и наше согласие в опасности. Он застыл в немом вопросе. Анна обернулась ко мне:

— Вы плохо выглядите, я корю себя за то, что заставила вас заниматься.

Я не ответила, я слишком ненавидела самое себя за то, что раздуваю драматический конфликт, но остановиться уже не могла. Мы отужинали. На террасе, в светлом треугольнике, отбрасываемом окном столовой, я увидела, как рука Анны, длинная, трепетная рука качнулась, нашла руку отца. Я подумала о Сириле, мне хотелось, чтобы он прижал меня к себе на этой террасе, полной цикад и лунного света. Мне хотелось, чтобы меня приласкали, утешили, примирили с самой собой. Отец и Анна молчали: у них впереди была ночь любви, у меня — Бергсон. Я попыталась заплакать, пожалеть самое себя, но тщетно. Я жалела не себя, а Анну, как будто уже заранее знала, что победу одержу я.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Я сама удивляюсь, как отчетливо помню все, начиная с этой минуты. Я стала внимательно вглядываться в окружающих и в самое себя. До сих пор непосредственность, бездумный эгоизм составляли для меня привычную роскошь. Я всегда в ней жила. Но эти несколько дней так перевернули мою душу, что я начала задумываться, наблюдать себя со стороны. Я прошла через все муки самоанализа, но так и не примирилась с собой. «Питать такие чувства к Анне, — твердила я себе, — глупо и мелко, а желать разлучить ее с отцом — жестоко». Но впрочем, за что я себя осуждала? Я — это я, с какой стати мне насиловать свои чувства? Впервые в жизни мое "я" как бы раздвоилось, и я в полном изумлении обнаружила в себе эту двойственность. Я находила для себя убедительные самооправдания, нашептывала их себе, считала себя искренней, как вдруг подавало голос мое второе "я", оно опровергало мои собственные доводы, кричало мне, что я нарочно предаюсь самообману, хотя у моих доводов есть видимость правдоподобия. Но как знать — может, именно мое второе "я" вводило меня в заблуждение? И эта прозорливость — не была ли она моей главной ошибкой? Целыми часами я просиживала в своей комнате, пытаюсь понять, оправданы ли опасения и неприязнь, какие мне отныне внушала Анна, или я просто балованная, эгоистичная девчонка, жаждущая лженезависимости?

Тем временем я день ото дня худела, на пляже только спала, а за столом против воли хранила напряженное молчание, которое в конце концов стало их тяготить. Я приглядывалась к Анне, ловила каждое ее движение, за едой то и дело твердила себе: «Вот она потянулась к нему — да ведь это любовь, самая настоящая любовь, другой такой он никогда не встретит. А вот она улыбнулась мне, и в глазах затаенная тревога — да разве можно на нее за это сердиться?» Но вдруг она говорила: «Когда мы вернемся в город, Реймон...» И при мысли о том, что она войдет в нашу жизнь, будет делить ее с нами, я вся ощетинивалась. Анна начинала мне казаться просто ловкой и холодной женщиной. Я твердила себе: «У нее холодное сердце, у нас — пылкое, у нее властный характер, у нас — независимый, она равнодушна к людям, они ее не интересуют, нас страстно влечет к ним, она сдержанна, мы веселы. Только мы двое по-настоящему живые, а она проскользнет между нами с этим пресловутым спокойствием, будет отогреваться возле нас и мало-помалу завладеет ласковым теплом нашей беззаботности, она ограбит нас, точно прекрасная змея. Прекрасная

змея, прекрасная змея!» — повторяла я. Анна протягивала мне хлеб, и я, вдруг очнувшись, восклицала про себя: «Да ведь это же безумие! Ведь это Анна, умница Анна, которая взяла на себя заботу о тебе. Холодность — это ее манера держаться, здесь нет никакой задней мысли; равнодушие служит ей защитой от тысячи житейских гнусностей, это залог благородства». Прекрасная змея... Побелев от стыда, я глядела на нее и мысленно молила о прощении. Иногда она подмечала мои взгляды, и удивление, неуверенность омрачали ее лицо, обрывали ее фразу на полуслове. Она инстинктивно искала взглядом отца, он смотрел на нее с восхищением и страстью, он не понимал причины ее тревоги. В конце концов обстановка по моей милости сделалась невыносимой, и я себя за это ненавидела.

Мой отец страдал от этого настолько, насколько вообще был способен страдать в его положении. Иными словами, мало, потому что был без ума от Анны, без ума от гордости и наслаждения, а он жил только ради них. Тем не менее в один прекрасный день, когда я дремала на пляже, он сел рядом со мной и стал на меня смотреть. Я почувствовала на себе его взгляд. Я хотела было встать и с наигранно веселым видом, который вошел у меня в привычку, предложить ему искупаться, но он положил руку мне на голову и заговорил жалобным тоном:

— Анна, посмотрите на эту пичужку, она совсем отошала. Если это результат занятий, надо их прекратить.

Он хотел все уладить, и, без сомнения, скажи он это десятью днями раньше, все и уладилось бы. Но теперь я запуталась в куда более сложных противоречиях, и дневные занятия меня больше не тяготили — ведь после Бергсона я не прочла ни строчки.

Подошла Анна. Я по-прежнему лежала ничком на песке, прислушиваясь к ее заглушенным шагам. Она села по другую сторону от меня и прошептала:

— И вправду, учение ей не впрок. Впрочем, было бы лучше, если бы она в самом деле занималась, а не кружила по комнате...

Я обернулась, посмотрела на них. Откуда она знает, что я не занимаюсь? Может, она вообще читает мои мысли, она способна на все. Это предположение меня напугало.

— Я вовсе не кружу по комнате, — возразила я.

— Может; ты скучаешь по этому мальчугану? — спросил отец.

— Нет!

Я была не вполне искренна. Впрочем, у меня не оставалось времени думать о Сириле.

— И однако, ты, верно, плохо себя чувствуешь, — строго сказал отец.

Анна, вы видите? Форменный цыпленок, которого вы — потрошили и поджаривают на солнце.

— Сесиль, девочка моя, — сказала Анна. — Сделайте над собой усилие. Позанимайтесь немного и побольше ешьте. Этот экзамен очень важен...

— Плюю я на этот экзамен, — крикнула я. — Понимаете, плюю.

Я в отчаянии посмотрела ей прямо в лицо, чтобы она поняла:

тут речь о вещах поважнее экзамена. Мне надо было, чтобы она спросила: «Так в чем же дело?», чтобы она засыпала меня вопросами, вынудила все ей рассказать. Она переубедила бы меня, поставила бы на своем, но зато меня не отравляли бы больше эти разъедающие и гнетущие чувства. Анна внимательно смотрела на меня, берлинская лазурь ее глаз потемнела от ожидания, от укоризны. И я поняла, что она никогда не станет меня расспрашивать, не поможет мне облегчить душу, ей это и в голову не придет: по ее представлениям, так не делают. Она и вообразить себе не может, какие мысли меня снедают, а если бы вообразила, отнеслась бы к ним с презрением и равнодушием, чего они, впрочем, и заслуживали! Анна всегда знала подлинную цену вещам. Вот почему нам с ней никогда, никогда не найти общего языка.

Я снова рывком распласталась на животе, прижалась щекой к ласковому, горячему песку, вздохнула и чуть задрожала. Спокойная, уверенная рука Анны легла мне на затылок и мгновение удерживала меня в неподвижности, пока не унялась моя нервная дрожь.

— Не усложняйте себе жизнь, — сказала она. — Вы были та-кой довольной, оживленной, и вообще, вы всегда живете бездумно — и вдруг стали умствовать и хандрить. Это вам не идет.

— Знаю, — сказала я, — я молодое, здоровое и безмозглое существо, веселое и глупое.

— Идемте обедать, — сказала она.

Отец ушел вперед — он терпеть не мог подобного рода споры.

По дороге он взял мою руку и задержал ее в своей. Это была, сильная, надежная рука: она утирала мне слезы при первом любовном разочаровании, она держала мою руку, когда мы бывали спокойны и безмятежно счастливы, она украдкой пожимала ее, когда мы вместе дурачились и хохотали до упаду. Я привыкла видеть эту руку на руле или сжимающей ключи, когда по вечерам она неуверенно нащупывала замочную скважину, на плече женщины или с пачкой сигарет. Но теперь эта рука ничем не могла мне помочь. Я крепко стиснула ее. Отец посмотрел на меня и улыбнулся.

Глава вторая

Прошло два дня: я все так же кружила по комнате, я вся извелась. Я не могла избавиться от навязчивой мысли: Анна перевернет всю нашу жизнь. Я не делала попыток увидеть Сирила — он успокоил бы меня, дал каплю радости, а я этого не хотела. Мне даже доставляло смутное удовольствие задаваться неразрешимыми вопросами, вспоминать минувшие дни и со страхом ждать будущего. Стояла сильная жара; в моей комнате с закрытыми ставнями царил сумрак, но и это не спасало от непереносимой, давящей и влажной духоты. Я валялась на постели, запрокинув голову, уставившись в потолок, и только изредка передвигалась, чтобы найти прохладный кусочек простыни. Спать мне не хотелось, я ставила на проигрыватель в ногах кровати одну за другой пластинки, лишенные мелодии, но с четким, замедленным ритмом. Я много курила, чувствовала себя декаденткой, и мне это нравилось. Впрочем, эта игра не могла меня обмануть: я грустила и была растеряна.

Однажды после полудня ко мне постучалась горничная и с таинственным видом сообщила, что «внизу кое-кто ждет». Я, конечно, решила, что это Сирил, и спустилась вниз. Но это был не Сирил, а Эльза. Она порывисто сжала мои руки. Я смотрела на нее, пораженная ее неожиданной красотой. Она наконец загорела — ровным светлым загаром, была тщательно подмазана и причесана и ослепительно молода.

— Я пришла за своими вещами, — сказала она. — Правда, Хуан купил мне на днях несколько платьев, но ими все равно не обойдешься.

На секунду я задумалась, кто такой Хуан, но выяснять не стала. Я была рада вновь увидеть Эльзу — от нее веяло миром содержанок, атмосферой баров, бездумных вечеринок, и это напомнило мне счастливые дни. Я сказала ей, что рада ее видеть, а она стала меня уверять, что мы всегда ладили друг с другом, потому что у нас много общего. Меня слегка передернуло, но я не подала виду и предложила ей подняться ко мне, чтобы избежать встречи с отцом и Анной. Когда я упомянула об отце, она невольно чуть заметно мотнула головой, и я подумала, что она, наверное, все еще любит его... несмотря на Хуана и его платья. И еще я подумала, что три недели назад я не заметила бы ее движения.

В моей комнате она стала восторженно расписывать, какую восхитительную светскую жизнь она ведет на взморье. А я слушала и смутно чувствовала, как во мне пробуждаются странные мысли,

внушенные отчасти ее новым обликом. Наконец она замолчала, возможно потому, что я не поддерживала разговора, прошла по комнате и, не обращившись, небрежным тоном проронила: «Ну а как Реймон — он счастлив?» Мне смутно подумалось: «Очко в мою пользу», и я тотчас поняла почему. В моем мозгу роились замыслы, возникали планы, я чувствовала, что меня сокрушает бремя моих прежних доводов. Я сразу же сообразила, что нужно ей ответить.

— «Счастлив», — ну, это слишком сильно сказано! Просто Анна старается ему это внушить. Она очень ловкая женщина.

— Очень! — вздохнула Эльза.

— Вам ни за что не угадать, чего она от него добилась... Она выходит за него замуж...

Эльза обернулась ко мне с выражением ужаса на лице:

— Замуж? Реймон, Реймон хочет жениться?

— Да, — сказала я. — Реймон собирается жениться. Безумный смех подступил мне к горлу. Руки у меня задрожали. Эльза так растерялась, будто я ее ударила. Нельзя было ей дать время поразмыслить и прийти к выводу, что, в конце концов, в его годы это естественно и не может же он всю свою жизнь прожить среди содержанок. Я подалась вперед и, для вящего впечатления резко понизив голос, сказала:

— Этого нельзя допустить, Эльза. Он уже страдает. Это совершенно невозможно, вы понимаете сами.

— Конечно, — сказала она.

Она была как зачарованная — меня разбирал смех и все сильнее била дрожь.

— Я вас ждала, — снова заговорила я. — Вам одной по плечу тягаться с Анной. Тут нужна женщина вашего класса.

Она явно жаждала мне поверить.

— Но если он собирается жениться, значит, он ее любит, — возразила она.

— Бросьте, — ласково сказала я. — Он любит вас, Эльза! Не пытайтесь уверить меня, будто вы этого не знаете.

Я видела, как она заморгала глазами, как отвернулась, чтобы скрыть радость, надежду, которую я в нее заронила. Я действовала словно по наитию, я совершенно точно угадывала, что надо ей говорить.

— Понимаете, — сказала я, — она поманила его прелестями семейного очага, добродетельной жизни, и он попался на эту удочку.

Мои слова угнетали меня... Ведь они, в конце концов, выражали то, что я и в самом деле чувствовала, пусть в грубой, примитивной форме, но

все-таки они отвечали моим мыслям.

— Если этот брак состоится, мы все трое — погибшие люди, Эльза. Надо защищать моего отца, ведь это большое дитя, Эльза... Большое дитя...

«Большое дитя», — повторяла я убежденно. Пожалуй, это слишком отдавало мелодрамой, но прекрасные зеленые глаза Эльзы уже затуманились жалостью. И я закончила, как заклинание:

— Помогите мне, Эльза. Ради вас, ради моего отца, ради вашей с ним любви.

И про себя добавила: «... и ради китайчат».

— Но что я могу сделать? — спросила Эльза. По-моему, это невозможно.

— Ну если, по-вашему, это невозможно, тогда делать нечего, произнесла я так называемым убитым голосом.

— Вот шлюха! — пробормотала Эльза.

— Именно, — сказала я и на сей раз сама отвернулась. Эльза расцветала на глазах. Над ней посмеялись, но теперь она покажет этой интриганке, на что способна она, Эльза Макенбур. Мой отец ее любит, она это знала всегда. Да и она сама — Хуан не мог затмить в ее сердце обаяние Реймона. Само собой, она никогда не толковала ему о прелестях семейного очага, но зато она по крайней мере не докучала ему, не пыталась заставить его...

— Эльза, — сказала я, дольше я не могла ее вынести. — Пойдите к Сирилу и скажите ему, что я прошу его вас приютить. С матерью он договорится. Передайте, что завтра утром я зайду к нему. Мы втроем все обсудим.

Проводив ее до порога, я, смеясь ради, добавила:

— Вы защищаете свое счастье, Эльза.

Она кивнула с самой серьезной миной, так, словно у нее не было полутора десятка вариантов этого самого счастья — по числу мужчин, которые будут ее содержать. Я глядела, как она идет по солнцу своей танцующей походкой. Я была уверена — не пройдет недели, как отец снова захочет ее.

Была половина четвертого: отец, наверное, спит в объятиях Анны. Она сама, упоенная, разметавшаяся в постели, разомлевшая от наслаждения и счастья, тоже, наверное, предалась сну... Быстро-быстро я начала строить планы, избегая даже мимолетной попытки разобраться в самой себе. Я как маятник слонялась по комнате, подходила к окну, смотрела на безмятежно спокойное, распластавшееся у песчаного берега море, возвращалась к

двери и опять шла к окну. Я высчитывала, прикидывала и одно за другим отметала все возражения; никогда прежде я не подозревала, как изворотлив и находчив человеческий ум. Я чувствовала себя опасной и удивительно ловкой, и к волне отвращения к самой себе, которая захлестнула меня с первых слов моего разговора с Эльзой, примешивалась гордость, ощущение сговора, в который я вступила с самой собой, и одиночества.

Надо ли говорить, что от всего этого не осталось и следа, когда настал час купания. Меня терзали угрызения совести, я не знала, что сделать, чтобы загладить свою вину перед Анной. Я несла на пляже ее сумку, бросилась подавать ей купальный халат, когда она вышла из воды, была сама предупредительность, сама любезность; эта внезапная перемена, после того как я дулась столько дней подряд, удивила ее и даже обрадовала. Отец был в восторге. Анна благодарила меня улыбкой, веселым голосом отвечала мне, а в моих ушах звучало: «Вот шлюха!» — «Именно». Как я могла это сказать, как могла терпеть глупость Эльзы? Завтра же посоветую ей уехать, скажу, что ошиблась. Все останется по-прежнему, и, в конце концов, почему бы мне не сдать экзамен? Ведь получить степень бакалавра наверняка полезно.

— Правда ведь?

Я обращалась к Анне:

— Правда ведь, получить степень бакалавра полезно? Она посмотрела на меня и расхохоталась. Я — тоже, обрадованная тем, что ей так весело.

— Вы неподражаемы, — сказала она.

Я и в самом деле была неподражаема. А если бы она еще знала, какие планы я вынашивала утром! Я умирала от желания рассказать ей все, чтобы она поняла, до какой степени я неподражаема! "Представьте, что я подучила Эльзу разыграть комедию: она должна была прикинуться влюбленной в Сирила, поселиться у него, мы видели бы, как они плавают в лодке, как прогуливаются в лесу и на берегу. Эльза снова стала красивой. О, конечно, ее красота не может сравниться с вашей, но все-таки есть в ней эта цветущая земная прелесть, которая заставляет мужчин оборачиваться. Отец не вынес бы этого долго: он никогда не примирился бы с тем, что красивая женщина, которая принадлежала ему, утешилась так быстро, да еще, можно сказать, у него на глазах. И вдобавок с мужчиной моложе его. Понимаете, Анна, хотя он любит вас, он снова очень быстро захотел бы ее, просто ради самоутверждения. Он очень тщеславен, а может, неуверен в себе — уж не знаю. Эльза по моей указке повела себя так, как надо. В один прекрасный день он бы вам изменил, а вы бы этого не стерпели, правда ведь? Вы не из тех женщин, которые умеют делиться. Вы бы уехали, а я этого и

добивалась. Ну да, это глупо, но я злилась на вас из-за Бергсона, из-за жары, я воображала, что... Я даже не решаюсь рассказать вам, что настолько это надуманно и смехотворно. Из-за этого экзамена я готова была поссорить нас с вами, подругой моей матери, нашим другом. А между тем ведь сдать экзамен на бакалавра полезно".

— Правда ведь?

— Что правда? — переспросила Анна. — Что полезно сдать экзамен на бакалавра?

— Да, — сказала я.

А в общем, не стоит ей рассказывать, вряд ли она поймет. Есть вещи, которые Анна понять не может. Я бросилась в воду, поплыла вдогонку за отцом, стала с ним бороться, вновь обретая радость от игры, от воды, от спокойной совести. Завтра же переберусь в другую комнату; устроюсь на чердаке, прихвачу с собой учебники. Бергсона я, правда, с собой не возьму незачем пересаливать! Два часа ежедневной работы в одиночестве, молчаливые усилия, запах чернил, бумаги. В октябре — успех, изумленный смех отца, одобрение Анны, диплом. Я стану умной, образованной, чуть равнодушной, как Анна. Кто знает, может у меня незаурядные способности... Смогла же я в пять минут разработать логический план — само собой гнусный, но зато логичный же. А Эльза! Я сыграла на ее тщеславии, на ее чувствах, в мгновение ока я заставила ее плясать под свою дудку, а ведь она пришла забрать вещи. Удивительная штука: я взяла Эльзу на мушку, подметила ее уязвимое место и, прежде чем заговорить, точно рассчитала удар. Я впервые познала ни с чем не сравнимое наслаждение: разгадать человека, увидеть его насквозь, заглянуть ему в душу и поразить в больное место. Осторожно, точно прикасаясь пальцем к пружинке, я пыталась прощупать кого-то — и тотчас сработало. Я попала в цель! Прежде я никогда не испытывала ничего подобного, я была слишком импульсивна. Если я затрагивала чью-нибудь чувствительную струнку, то только по неосмотрительности. И вдруг мне приоткрылся удивительный механизм человеческих реакций, могущество слова... Как жаль, что я обнаружила это на путях обмана. Но в один прекрасный день я люблю кого-нибудь всей душой, и вот так же осторожно, ласково, трепетной рукой нащупаю путь к его сердцу...

Глава третья

На другое утро я шла к вилле, где жил Сирил, уже куда менее уверенная в силе своего интеллекта. Накануне за ужином я много пила, чтобы отпраздновать свое выздоровление, и сильно захмелела. Я уверяла отца, что защищу диссертацию по литературе, буду вращаться среди эрудитов, стану знаменитой и нудной. А ему придется пустить в ход все средства рекламы и скандала, чтобы поспособствовать моей карьере. Мы наперебой строили нелепые планы и покатывались от смеха. Анна тоже смеялась, хотя не так громко и несколько снисходительно. А по временам, когда мои честолюбивые планы выходили за рамки литературы и простого приличия, ее смех и вовсе умолкал. Но отец был так откровенно счастлив, оттого что наши дурацкие шуточки помогают нам вновь обрести друг друга, что она воздерживалась от замечаний. Наконец они уложили меня в постель, накрыли одеялом. Я горячо благодарила их, вопрошала: «Что бы я без вас делала?». Отец и в самом деле не знал, но у Анны, кажется, было на этот счет довольно суровое мнение. Я заклинала ее сказать какое, и она уже склонилась было надо мной, но тут меня сморил сон. Среди ночи мне стало плохо. А утреннее пробуждение еще ни разу не было для меня таким мучительным. С мутной головой, тяжелым сердцем шла я к сосновой рощице, не замечая ни утреннего моря, ни возбужденных чаек.

Сирил встретил меня у калитки сада. Он кинулся ко мне, обнял, страстно прижал к себе, бормоча бессвязные слова:

— Родная моя, я так волновался... Так долго... Я не знал, что с тобой, может, эта женщина мучает тебя... Я не думал, что сам могу так мучиться... Каждый день после полудня я плавал вдоль бухты, взад и вперед... Я не думал, что так тебя люблю...

— Я тоже, — сказала я.

Я и вправду была удивлена и растрогана. Мне было досадно, что меня мутит и я не могу выразить ему своих чувств.

— Какая ты бледная, — сказал он. — Но теперь я сам о тебе позабочусь, я не позволю больше истязать тебя.

Я узнала разыгравшуюся фантазию Эльзы. Я спросила Сирила, как приняла Эльзу его мать.

— Я представил ее как свою приятельницу, сироту, — ответил Сирил. — Она вообще славная, Эльза. Она все рассказала мне об этой женщине. Удивительно: такое тонкое, породистое лицо — и повадки

настоящей интриганки.

— Эльза сильно преувеличивает, — вяло возразила я. — Я как раз хотела ей сказать...

— Мне тоже надо тебе кое-что сказать, — оборвал Сирил. — Сесиль, я хочу на тебе жениться.

На секунду я перепугалась. Надо что-то сделать, что-то сказать. Ах, если бы не эта гнусная тошнота...

— Я люблю тебя, — говорил Сирил, дыша мне в волосы. Я брошу юриспруденцию, мне предлагают выгодное место у дяди... мне двадцать шесть лет, я уже не мальчишка. Я говорю совершенно серьезно. А ты что скажешь?

Я тщетно подыскивала какую-нибудь красивую уклончивую фразу. Я не хотела за него замуж. Я любила его, но не хотела за него замуж. Я вообще не хотела ни за кого замуж, я устала.

— Это невозможно, — пробормотала я. — Мой отец...

— Твоего отца я беру на себя, — сказал Сирил.

— Анна не согласится, — сказала я. — Она считает, что я еще ребенок. А что скажет она, то скажет и отец. Я так устала, Сирил. От всех этих волнений я еле держусь на ногах. Сядем. А вот и Эльза.

Эльза спускалась по лестнице в халате, свежая и сияющая. Я чувствовала себя поблекшей и тощей. У них обоих был здоровый, цветущий, возбужденный вид, и это еще больше меня угнетало. Эльза усадила меня, обхаживая так бережно, словно я только-только вышла из тюрьмы.

— Как поживает Реймон? — спросила она. — Он знает, что я здесь?

Она улыбалась счастливой улыбкой женщины, которая простила и надеется. Я не могла сказать ей, что отец ее забыл, а Сирилу — что я не хочу за него замуж. Я закрыла глаза, Сирил пошел за чашкой кофе. Эльза говорила, говорила без умолку, она явно смотрела на меня как на необычайно проницательное существо, она полностью на меня полагалась. Кофе был крепкий, ароматный, солнце немного подбодрило меня.

— Я без толку ломала себе голову, я не вижу выхода, — сказала Эльза.

— Выхода нет, — сказал Сирил. — Он под ее обаянием, под ее властью. Тут ничего не поделаешь.

— Почему же? — возразила я. — Одно средство есть. Вы на-чисто лишены воображения.

Мне льстило, что они с таким вниманием прислушиваются к моим словам — они на десять лет меня старше, а сообразительности ни на грош.

— Это начисто психологический вопрос, — заявила я небрежным

тоном.

Я говорила долго, изложила им весь свой план. Они выдвигали те же возражения, какие накануне выдвигала я сама и, опровергая их, я испытывала жгучее наслаждение. Я делала это без всякой цели, но, стараясь их убедить, я сама вошла в азарт. Я дока-зала им, что это возможно. Теперь мне осталось уговорить их, что этого делать не следует, но я не находила столь же убедительных доводов.

— Не нравятся мне все эти ухищрения, — сказал Сирил. — Но если другого способа жениться на тебе нет, я готов на все.

— Собственно, Анна в этом не виновата, — сказала я.

— Вы прекрасно понимаете, что, если она останется у вас, вы выйдете за того, за кого захочет она, — сказала Эльза.

Наверное, она была права. Я сразу вообразила, как мне исполняется двадцать лет и Анна представляет мне молодого человека — он тоже лицензиат, с блестящими видами на будущее, умный, уравновешенный и, конечно, неспособный на измену. Пожалуй, отчасти похожий на Сирила. Я рассмеялась.

— Прошу тебя, не смейся, — сказал Сирил. — Скажи, что будешь ревновать, когда я сделаю вид, будто влюблен в Эльзу. Как ты вообще могла на это пойти, ты любишь меня?

Он говорил шепотом, Эльза деликатно удалилась. Я всматривалась в загорелое, напряженное лицо Сирила, в его темные глаза. Он любил меня — странное чувство это будило во мне. Я смотрела на его алый рот — так близко от меня... Я больше не ощущала себя интеллектуалкой. Он слегка приблизил ко мне свое лицо, наши губы соприкоснулись и узнали друг друга. Я сидела с открытыми глазами, его неподвижные губы, горячие и жесткие, были прижаты к моим; вот они дрогнули, он крепче прижался к моим губам, чтобы унять дрожь, потом его губы раздвинулись, поцелуй ожил; сразу стал более властным, искусным, чересчур искусным... И я поняла, что куда больше подхожу для того, чтобы целоваться на солнце с юношей, чем для того, чтобы защищать диссертацию... Задыхнувшись, я слегка отстранилась от него.

— Сесиль, мы должны жить вместе. Я согласен разыграть эту комедию с Эльзой.

А я думала: правильно ли я все рассчитала? Я — душа, режиссер этой комедии. Я смогу остановить ее в любую минуту.

— Забавные тебе приходят в голову выдумки, — сказал Сирил, улыбаясь одним уголком рта. При этом у него приподнималась верхняя губа и он становился похожим на разбойника, на красавца-разбойника...

— Поцелуй меня, — прошептала я. — Поцелуй скорее! Так я заварила эту комедию. Против воли, из беспечности и любопытства. Иной раз мне кажется, было бы лучше, если бы я сделала это с умыслом, из ненависти, в исступлении. Тогда по крайней мере я могла бы винить себя, себя самое, а не лень, солнце и поцелуи Сирила.

Час спустя я рассталась с заговорщиками в довольно скверном настроении. Конечно, у меня не было недостатка в успокоительных доводах: мой план может оказаться неудачным, а страсть отца к Анне так сильна, что он даже окажется способным хранить ей верность. К тому же ни Сирил, ни Эльза не сумеют обойтись без моей помощи. А у меня всегда найдется повод прекратить игру, если вдруг отец попадется на удочку. Но сделать попытку проверить, справедливы или нет мои психологические расчеты, все-таки забавно.

Вдобавок Сирил меня любит, он хочет на мне жениться — эта мысль поддерживала меня в радостном возбуждении. Если он согласится подождать год или два, пока я стану взрослой, я приму его предложение. Я уже представляла себе, как я живу с Сирилом, сплю рядом с ним, никогда с ним не разлучаюсь. По воскресеньям мы обедаем вместе с отцом и Анной — дружной четой, а может, и с матерью Сирила, что придаст нашим трапезам семейную атмосферу.

Я встретила Анну на террасе — она спускалась на пляж к отцу. Она посмотрела на меня тем ироническим взглядом, каким смотрят на людей, сильно выпивших накануне. Я спросила ее, что она собиралась мне сказать вечером, когда я заснула, но она, смеясь, отказалась ответить под предлогом, что я обижусь. Отец вышел из воды, широкоплечий, мускулистый — он показался мне велико-лепным. Я пошла купаться с Анной, она легко плыла, приподняв голову над водой, чтобы не замочить волос. Потом мы все трое растянулись рядом на песке: я посредине, они по обе стороны от меня, молчаливые и умиротворенные.

И вот тут-то у дальней оконечности бухты показалась лодка под всеми парусами. Отец заметил ее первый.

— Бедняжка Сирил больше не мог выдержать, — сказал он, смеясь. — Анна, простим ему? В общем он славный малый. Я подняла голову, я почувствовала опасность.

— Что это он делает? — удивился отец. — Огибает бухту? Да он не один...

Теперь и Анна подняла голову. Лодка проплыла мимо нас, обогнула берег. Я уже различала лицо Сирила, я мысленно заклинала его поскорее уплыть отсюда.

Возглас отца заставил меня вздрогнуть. Между тем вот уже две минуты, как я его ждала:

— Да ведь это... это Эльза! Что она тут делает? Он обернулся к Анне:

— Бесподобная девица! Она наверняка заарканила бедного мальчугана и убедила старую даму себя удочерить.

Но Анна его не слушала. Она смотрела на меня. Я встретила с ней взглядом и, сгорая от стыда, уткнулась лицом в песок. Она протянула руку и положила ее мне на затылок.

— Поглядите на меня. Вы на меня сердитесь?

Я открыла глаза: она склонилась надо мной с тревогой, почти с мольбой. В первый раз она смотрела на меня как на существо, способное чувствовать и мыслить, и это в тот самый день... Я застонала и резко повернулась к отцу, чтобы стряхнуть с себя ее руку. Отец смотрел на парусник.

— Бедная моя девочка, — вновь раздался голос, тихий голос Анны. Бедняжка Сесиль, тут есть доля моей вины, наверное, мне не следовало проявлять такую нетерпимость. Но я вовсе не хотела сделать вам больно, вы мне верите?

Она ласково поглаживала меня по волосам, по затылку. Я не шевелилась. У меня было такое чувство, как бывает при отливе, когда песок уходит из-под ног, — жажда поражения, нежности охватила меня, и никогда ни одно чувство ни гнев, ни желание — не завладевало мной с такою силой. Прекратить комедию, вернуть Анне мою жизнь, до конца дней предаться в ее руки. Никогда не испытывала я такой неодолимой, такой безграничной слабости. Я закрыла глаза. Мне чудилось, что мое сердце перестало биться.

Глава четвертая

Отец не выказал ничего, кроме удивления. Горничная рассказала ему, что Эльза приходила за своим чемоданом и тут же ушла. Уж не знаю, почему она умолчала о нашей с ней встрече. Это была деревенская женщина, настроенная весьма романтически, наши взаимоотношения должны были рисоваться ей в до-вольно соблазнительном свете. Тем более что именно ей пришлось переносить вещи из комнаты в комнату.

Итак, отец и Анна, терзаясь угрызениями совести, проявляли ко мне внимание и доброту, которые сперва невыносимо тяготили меня, но вскоре начали нравиться. По правде говоря, хоть это и было делом моих рук, мне вовсе не доставляло удовольствия на каждом шагу встречать Сирила в обнимку с Эльзой, всем своим видом показывающих, что они вполне довольны друг другом. Плавать на лодке я больше не могла, но зато я могла видеть, что там сидит Эльза и ветер треплет ее волосы, как прежде мои. Мне не стоило никакого труда принимать замкнутый вид и держаться с напускным безразличием, когда мы сталкивались с ними. А сталкивались мы с ними повсюду: в сосновой роще, в поселке, на до-роге. Анна смотрела на меня, заводила разговор о чем-нибудь постороннем и, чтобы ободрить меня, клала руку мне на плечо. Кажется, я назвала ее доброй? Быть может, ее доброта была утонченной формой ума, а то и просто равнодушия — не знаю, но она всегда находила единственно верное слово, движение, и, если бы я взаправду страдала, лучшей поддержки я не могла бы и желать.

Итак, я без особой тревоги предоставляла событиям идти своим чередом, потому что, как я уже сказала, отец не проявлял никаких признаков ревности. Это убеждало меня в том, что он привязан к Анне, но отчасти задевало, доказывая тщету моих построений. Однажды мы с ним шли вдвоем на почту и встретили Эльзу; она сделала вид, будто не заметила нас. Отец оглянулся на нее, как на незнакомку, и присвистнул.

— Погляди — правда, Эльза неслыханно похорошела!

— Счастлива в любви, — сказала я. Он бросил на меня удивленный взгляд.

— Ты, по-моему, относишься к этому легче, чем...

— Что поделаешь, — сказала я. — Они ровесники, как видно, это перст судьбы.

— Если бы не Анна, перст судьбы был бы тут ни при чем... — Он был в бешенстве. — Уж не думаешь ли ты, что какой-то мальчишка может

отбить у меня женщину против моей воли.

— И все-таки возраст играет роль, — серьезно сказала я. Он пожал плечами. Домой он вернулся хмурый: очевидно, размышлял о том, что и в самом деле Эльза молода и Сирил тоже, а он, женись на женщине своих лет, перестанет принадлежать к той категории мужчин без возраста, к какой относился до сих пор. Меня охватило чувство невольного торжества. Но потом я увидела морщинки в уголках Анниных глаз, едва заметную складку у рта и устыдилась. Но было так приятно подчиняться своим порывам, а потом раскаиваться в них...

Прошла неделя. Сирил и Эльза, не зная, как обстоят дела, наверное, каждый день ждали меня. Но я не решалась пойти к ним, они подстрекнули бы меня к новым выдумкам, а мне этого не хотелось. К тому же каждый день после полудня я уединялась в своей комнате якобы для занятий. На самом деле я бездельничала: я набрела на книгу Йоги и усердно ее изучала, изредка содрогаясь от безудержного, но беззвучного хохота — я боялась, как бы меня не услышала Анна. Ведь я говорила ей, что работаю не разгибая спины, я разыгрывала перед ней разочарованную в любви девушку, которая черпает утешение в надежде написать когда-нибудь настоящий ученый труд. Мне казалось, что это внушает ей уважение, и я дошла до того, что несколько раз за обедом цитировала Канта, чем явно приводила в отчаяние отца.

Однажды днем, завернувшись в купальные полотенца, чтобы больше походить на индийцев, я поставила правую ступню на левое бедро и стала пристально созерцать себя в зеркале — не из желания полюбоваться собой, а в надежде достичь состояния нирваны, — когда вдруг в дверь постучали. Я решила, что это горничная и, так как она ни на что не обращала внимания, крикнула:

«Войдите».

Это оказалась Анна. На мгновение она застыла на пороге, потом улыбнулась:

— Вот что это вы играете?

— В йогу, — сказала я. — Но это не игра, а индийская философия.

Она подошла к столу и взяла книгу в руки. Меня охватила тревога. Книга была открыта на сотой странице и вся испещрена моими пометками вроде «неосуществимо» или «утомительно».

— Вы на редкость прилежны, — сказала она. — Но где же пресловутое сочинение о Паскале, о котором вы столько рассказывали?

И в самом деле, за столом я повадилась рассуждать об одной фразе Паскаля, делая вид, что размышляю и работаю над ней. Само собой, я не

написала о ней ни слова. Я не шелохнулась. Анна пристально посмотрела на меня и все поняла.

— То, что вы не занимаетесь, а паясничаете перед зеркалом, дело ваше! сказала она. — Но вот то, что потом вы лжете отцу и мне, уже гораздо хуже. Недаром я удивлялась, что вы вдруг так пристрастились к умственной деятельности...

Она вышла, а я оцепенела в своих купальных полотенцах, я не могла взять в толк, почему она называет это «ложью». Я рассуждала о сочинении, чтобы доставить ей удовольствие, а она вдруг обдала меня презрением. Я уже привыкла, что теперь она обращалась со мной по-другому, и спокойный, унижительный для меня тон, каким она высказала мне свое пренебрежение, страшно меня обозлил. Я сорвала с себя маскарадный наряд, натянула брюки, старую блузку и выбежала из дому. Стояла палящая жара, но я мчалась сломя голову, подгоняемая чувством, похожим на ярость, тем более безудержную, что я не могла бы поручиться что меня не мучит стыд. Я прибежала к вилле, где жил Сирил, и, запыхавшись, остановилась у входа. В полуденном зное дома казались до странности глубокими, притихшими, ревниво оберегающими свои тайны. Я поднялась наверх к комнате Сирила: он показал мне ее в тот день, когда мы были в гостях у его матери. Я открыла дверь, он спал, вытянувшись поперек кровати и поло-жив щеку на руку. С минуту я глядела на него: впервые за все время нашего знакомства он показался мне беззащитным и трогательным; я тихо окликнула его; он открыл глаза и, увидев меня, сразу же сел:

— Ты? Как ты здесь очутилась?

Я сделала ему знак говорить потише: если его мать придет и увидит меня в его комнате, она может подумать... да и всякий на ее месте подумал бы... Меня вдруг охватил страх, я шагнула к двери.

— Куда ты? — крикнул Сирил. — Подожди... Сесиль.

Он схватил меня за руку, стал со смехом меня удерживать. Я обернулась и посмотрела на него, он побледнел — я, наверное, тоже — и выпустил мое запястье. Но тотчас вновь схватил меня в объятия и повлек за собой. Я смутно думала: это должно было случиться, должно было случиться. И начался хоровод любви — страх об руку с желанием, с нежностью, с исступлением, а потом жгучая боль и за нею всепобеждающее наслаждение. Мне повезло, и Сирил был достаточно бережным, чтобы дать мне познать его с первого же дня.

Я провела с ним около часа, оглушенная, удивленная. Я привыкла слышать разговоры о любви, как о чем-то легковесном, я сама говорила о

ней без обиняков, с неведением, свойственным моему возрасту; но теперь мне казалось, что никогда больше я не смогу говорить о ней так грубо и небрежно. Сирил, прижавшись ко мне, твердил, что хочет на мне жениться, всю жизнь быть вместе со мной. Мое молчание стало его беспокоить: я приподнялась на постели, посмотрела на него, назвала своим возлюбленным. Он склонился надо мной. Я прижалась губами к жилке, которая все еще билась на его шее, прошептала: «Сирил, мой милый, милый Сирил». Не знаю, было ли мое чувство к нему в эту минуту любовью, — я всегда была непостоянной и не хочу прикидываться другой. Но в эту минуту я любила его больше, чем себя самое, я могла бы отдать за него жизнь. Прощаясь со мной, он спросил, не сержусь ли я — я рассмеялась. Сердиться на него за это счастье...

Я медленно шла домой через сосновую рощу разбитая, скованная в движениях; я не разрешила Сирилу проводить меня — это было бы слишком опасно. Я боялась, что на моем лице, в кругах под глазами, в припухлости рта, в трепетании тела слишком явно видны следы наслаждения. Возле дома в шезлонге сидела Анна и читала. Я уже приготовилась ловко соврать, чтобы объяснить свое отсутствие, но она ни о чем меня не спросила, она никогда ни о чем не спрашивала. Я молча села возле нее, вспомнив, что мы в ссоре. Я сидела неподвижно, полузакрыв глаза, стараясь овладеть ритмом своего дыхания, дрожью своих пальцев. По временам я вспоминала тело Сирила, мгновение счастья, и у меня обрывалось сердце.

Я взяла со стола сигарету, чиркнула спичкой о коробок. Спичка погасла. Я зажгла вторую очень осторожно, так как ветра не было — дрожала только моя рука. Спичка погасла, едва я поднесла ее к сигарете. Я сердито хмыкнула и взяла третью. И тут, не знаю почему, эта спичка стала в моих глазах вопросом жизни и смерти. Может быть, потому, что Анна, выйдя вдруг из своего безразличия, посмотрела на меня внимательно, без улыбки.

В эту минуту исчезло все: место, время, — осталась только спичка, мой палец поверх нее, серый коробок и взгляд Анны. Мое сердце сорвалось с цепи, гулко заколотилось, пальцы судорожно сжали спичку, она вспыхнула, я жадно потянулась к ней лицом, сигарета накрыла ее и погасила. Я уронила коробок на землю, закрыла глаза. Анна не сводила с меня сурового, вопросительного взгляда. Я молила кого-то о чем-то — лишь бы кончилось это ожидание. Руки Анны приподняли мою голову — я зажмурила глаза, боясь, как бы она не увидела моего взгляда. Я чувствовала, как из-под моих век выступили слезы усталости, смущения,

наслаждения. И тогда, точно вдруг отказавшись от всех вопросов, жестом, выдающим неведение и примиренность, Анна провела ладонями по моему лицу сверху вниз и отпустила меня. Потом сунула мне в рот зажженную сигарету и вновь углубилась в книгу.

Я придала, попыталась придать этому жесту символический смысл. Но теперь, когда у меня гаснет спичка, я заново переживаю эту странную минуту-пропасть, разверзшуюся между мной и моими движениями, тяжесть взгляда Анны и эту пустоту вокруг, напряженную пустоту...

Глава пятая

Описанная мной сценка не могла обойтись без последствий. Как многие очень сдержанные в проявлении чувств и очень уверенные в себе люди, Анна не выносила компромиссов. А ее жест — суровые руки, вдруг ласково скользнувшие по моему лицу, — был для нее именно таким компромиссом. Она что-то угадала, она могла вынудить у меня признание, но в последнюю минуту поддалась жалости, а может быть, равнодушию. Ведь возиться со мною, муштровать меня было для нее не легче, чем примириться с моими срывами. Только чувство долга заставило ее взять на себя роль опекуниши, воспитательницы; выходя замуж за отца, она считала себя обязанной заботиться и обо мне. Я предпочла бы, чтобы за этим ее постоянным неодобрением, что ли, крылась раздражительность или какое-нибудь другое более поверхностное чувство, привычка быстро притупила бы его; к чужим недостаткам легко привыкаешь, если не считаешь своим долгом их исправлять. Прошло бы полгода, и я вызывала бы у нее просто чувство усталости — привязанности и усталости; а я ничего лучшего и не желала бы. Но у Анны мне никогда не вызвать этого чувства — она будет считать себя в ответе за меня, и отчасти она права, потому что я все еще очень податлива. Податлива и в то же время упряма.

Итак, Анна была недовольна собой и дала мне это почувствовать. Несколько дней спустя за обедом разгорелся спор по поводу все тех же несносных летних занятий. Я позволила себе чрезмерную развязность. Покоробило даже отца, и дело кончилось тем, что Анна заперла меня на ключ в моей комнате, при этом не произнеся ни одного резкого слова. Я и не подозревала, что она меня заперла. Мне захотелось пить, я подошла к двери, чтобы ее открыть — дверь не поддалась, и я поняла, что меня заперли. Меня в жизни не запирали — меня охватил ужас, самый настоящий ужас. Я бросилась к окну — этим путем выбраться было невозможно. Совершенно потеряв голову, я опять метнулась к двери, навалилась на нее и сильно ушибла плечо. Тогда, стиснув зубы, я попыталась сломать замок — я не хотела звать на помощь, чтобы мне открыли. Но я только испортила маникюрные щипчики. Бессильно уронив руки, я остановилась посреди комнаты. Я стояла неподвижно и прислушивалась к странному спокойствию, умиротворению, которые охватывали меня по мере того, как прояснялись мои мысли. Это было мое первое соприкосновение с жестокостью — я чувствовала, как по мере моих

размышлений она зарождается, крепнет во мне. Я легла на кровать и стала тщательно обдумывать свой план. Моя злоба была так несоразмерна поводу, который ее вызвал, что после полудня я два-три раза вставала, хотела выйти из комнаты и каждый раз, наткнувшись на запертую дверь, удивлялась.

В шесть часов вечера дверь отпер отец. Когда он вошел ко мне, я машинально встала. Он молча посмотрел на меня, и я все так же машинально улыбнулась.

— Хочешь, поговорим? — сказал он.

— О чем? — спросила я. — Ты ненавидишь объяснения, я тоже. И они ни к чему не ведут...

— Ты права. — У него явно отлегло от души. — Тебе надо держаться с Анной поласковой, быть терпеливой.

Последнее слово меня поразило — мне быть терпеливой с Анной. Он все ставил с ног на голову. В глубине души он считал, что навязывает Анну своей дочери. А не наоборот. У меня были основания для самых радужных надежд.

— Я вела себя гадко, — сказала я. — Я извинюсь перед Анной.

— Скажи, ты... гм... ты счастлива?

— Конечно, — беспечно ответила я. — И потом, если мне будет очень уж трудно ужиться с Анной, я пораньше выйду замуж — только и всего.

Я знала, что такой выход его огорчит.

— Об этом нечего и думать... Ты ведь не Белоснежка... Неужели ты с легким сердцем сможешь так скоро расстаться со мной? Ведь мы прожили вместе всего два года.

Для меня эта мысль была так же мучительна, как и для него. Я поняла, что еще минута, и я с плачем припаду к нему и буду говорить о погибшем счастье и о моих раздутых переживаниях. Но я не могла превращать его в сообщника.

— В общем, я, конечно, сильно преувеличиваю. Мы с Анной прекрасно ладим друг с другом. При взаимных уступках...

— Да-да, — сказал он. — Само собой.

Должно быть, он, как и я, подумал, что уступки едва ли будут взаимными и скорее всего их придется делать мне одной.

— Видишь ли, — сказала я, — я ведь отлично понимаю, что Анна всегда права. Она в своей жизни преуспела гораздо больше лас, ее существование гораздо более осмысленно...

У него невольно вырвался протестующий жест, но я продолжала как ни в чем не бывало:

— ... Пройдет какой-нибудь месяц, два, я полностью усвою взгляды Анны, и наши глупые споры кончатся. Надо просто набраться терпения.

Он смотрел на меня, явно сбитый с толку. И испуганный — он потерял компаньона для будущих проказ и в какой-то мере терял прошлое.

— Ну, не надо преувеличивать, — слабо возразил он. — Я признаю, что навязывал тебе образ жизни, не совсем подходящий по возрасту ни тебе... гм... ни мне, но наша жизнь вовсе не была бессмысленной или несчастливой... нет. В общем, не так уж нам было грустно или, скажем, неуютно эти два года. Не надо все зачеркивать только потому, что Анна несколько по-иному смотрит на вещи.

— Зачеркивать не надо, но надо поставить крест, — сказала я с убеждением.

— Само собой, — сказал бедняга, и мы сошли вниз. Я без малейшего смущения извинилась перед Анной. Она сказала, что это пустяки и причина нашего спора — жара. Мне было весело и безразлично.

Как было условлено, я встретила с Сирилом в сосновой роще; объяснила ему, что надо делать. Он выслушал меня со смесью страха и восхищения. Потом притянул к себе, но было поздно — пора возвращаться домой. Я сама удивилась тому, как мне трудно расстаться с ним. Если он хотел привязать меня к себе, более прочных уз он не мог бы найти. Мое тело тянулось к его телу, обретало самое себя, расцветало рядом с ним. Я страстно поцеловала его, мне хотелось сделать ему больно, оставить какой-то след, чтобы он ни на минуту не забывал обо мне в этот вечер и ночью видел меня во сне. Потому что ночь будет тянуться бесконечно долго без него, без его близости, его умелой нежности, внезапного исступления и долгих ласк.

Глава шестая

На другое утро я пригласила отца прогуляться со мной по до-роге. Мы весело болтали о разных пустяках. Вернуться я предложила через сосновую рощу. Было ровно половина одиннадцатого — я поспела минута в минуту. Отец шел впереди меня, тропинка была узкая и заросла колючим кустарником, он то и дело раздвигал его, чтобы я не оцарапала себе ноги. Вдруг он остановился, и я поняла, что он их увидел. Я подошла к нему.

Сирил и Эльза спали, лежа на опавшей хвое и являя взгляду все приметы сельской идиллии; они действовали в точности по моей указке, но, когда я увидела их в этой позе, у меня сжалось сердце. Что из того, что Эльза любит отца, а Сирил любит меня, — они оба так хороши собой, оба молоды, и они так близко друг от друга... Я взглянула на отца — он не двигался, впился в них взглядом, неестественно побледнев. Я взяла его под руку.

— Не надо их будить, уйдем.

Он в последний раз посмотрел на Эльзу. На Эльзу, раскинувшуюся на спине, во всей своей молодости и красоте, золотистую, рыжую, с легкой улыбкой на губах — улыбкой юной нимфы, которую наконец-то настигли... Он круто повернулся и быстро зашагал прочь.

— Вот шлюха, — бормотал он. — Вот шлюха!

— За что ты ее бранишь? Разве она не свободна? — Причем здесь свобода? Тебе что, приятно видеть, как Сирил спит с ней в обнимку?

— Я его больше не люблю, — сказала я.

— Я тоже не люблю Эльзу, — крикнул он в ярости. — И все равно мне это неприятно. Не забывай, что я — гм... я жил с нею! А это куда хуже...

Мне ли было не знать, что это куда хуже! Наверное, его, как и меня, подмывало броситься к ним, разлучить их, вновь вернуть себе свою собственность — то, что было твоей собственностью.

— Услышала бы тебя Анна!...

— Что? Анна?.. Конечно, она не поняла бы или была бы шокирована, это вполне естественно. Но ты! Ведь ты моя родная дочь. Неужели ты меня перестала понимать, неужели тебя это тоже шокирует?

До чего же мне было легко направлять его мысли. Меня даже немного напугало то, что я так хорошо его знаю.

— Я не шокирована, — сказала я. — Но в конце концов, надо смотреть правде в глаза: у Эльзы память короткая, Сирил ей нравится, она для тебя

потеряна. Особенно если вспомнить, как ты с ней обошелся. Такие вещи не прощают...

— Захоти я только... — начал отец, но с испугом осекся.

— Ничего бы у тебя не вышло, — сказала я с убеждением, точно обсуждать его надежды вернуть Эльзу было самым будничным делом.

— Но у меня и в мыслях этого нет, — сказал он, обретая трезвость.

— Еще бы, — ответила я, пожав плечами.

Это пожатие означало: «Бесполезно, бедняжка, ты вышел из игры». Весь обратный путь он молчал. Дома он обнял Анну и, закрыв глаза, несколько мгновений прижимал ее к себе. Удивленная, она подчинилась с улыбкой. Я вышла из комнаты и, сгорая от стыда, прижалась в коридоре к стенке.

В два часа я услышала тихий свист Сирила и спустилась на пляж. Сирил сразу же помог мне взобраться в лодку и поплыл в открытое море. На море было пустынно — никому не приходило в голову купаться в такую жару. Вдали от берега он спустил парус и обернулся ко мне. Мы едва успели перемолвиться словом.

— Сегодня утром... — начал он.

— Замолчи, — сказала я, — ох, замолчи!

Он осторожно опрокинул меня на брезент. Мы были в поту — мокрые, скользкие, мы действовали неловко и торопливо; лодка равномерно покачивалась под нами. Солнце светило мне прямо в глаза. И вдруг Сирил зашептал властно и нежно... Солнце оторвалось, вспыхнуло, рухнуло на меня... Где я? В пучине моря, времени, наслаждения?.. Я громко звала Сирила, он не отвечал отвечать не было нужды.

А потом прохлада соленой воды. Мы оба смеялись — ослепленные, разнеженные, благодарные. Нам принадлежали солнце и море, смех и любовь — и почувствуем ли мы их когда-нибудь с тем же накалом и силой, какие им придавали в это лето страх и укоры совести?..

Любовь приносила мне не только вполне осязаемое физическое наслаждение; думая о ней, я испытывала что-то вроде наслаждения интеллектуального. В выражении «заниматься любовью» есть свое особое, чисто словесное очарование, которое отчуждает его от смысла. Меня пленяло сочетание материального, конкретного слова «заниматься» с поэтической абстракцией слова «любовь». Прежде я произносила эти слова без тени стыдливости, без всякого смущения, не замечая их сладости. Теперь я обнаружила, что становлюсь стыдливой. Я опускала глаза, когда отец чуть дольше задерживал взгляд на Анне, когда она смеялась новым для нее коротким, тихим, бесстыдным смехом, при звуках которого мы с

отцом бледнели и начинали смотреть в окно. Если бы мы сказали Анне, как звучит ее смех, она бы нам не поверила. Она держалась с отцом не как любовница, а как друг, нежный друг. Но, наверное, ночью... Я запрещала себе думать об этом, я ненавидела тревожные мысли.

Дни шли. Я отчасти позабыла об Анне, отце и Эльзе. Занятая своей любовью, я жила с открытыми глазами, как во сне, приветливая и спокойная. Сирил спросил меня, не боюсь ли я забеременеть. Я ответила, что во всем полагаюсь на него, и он принял мои слова как должное. Может, я потому с такой легкостью и отдалась ему: он не перекладывал на меня ответственности, окажись я беременной, виноват будет он. Он брал на себя то, чего я не могла перенести, — ответственность. Впрочем, мне не верилось, что я могу забеременеть, я была худая, мускулистая... В первый раз в жизни я радовалась, что сложена как подросток.

Между тем Эльза начала терять терпение. Она засыпала меня вопросами. Я всегда боялась, как бы меня не застигли с нею или с Сирилом. Она подстраивала так, чтобы всегда и везде попадаться на глаза отцу, встречаться на его пути. Она упивалась двоими воображаемыми победами, порывами, которые, по ее словам, он подавлял, но не мог утаить. Я с удивлением наблюдала, как эта девица, чья профессия мало отличалась от продажной любви, предавалась романтическим грезам, приходила в экстаз от таких пустяков, как взгляд или движение, — это она-то, воспитанная четкими требованиями мужчин, которые всегда спешат. Правда, она не привыкла к сложным ролям, и та, какую она играла теперь, очевидно, представлялась ей верхом психологической изощренности.

Мысль об Эльзе понемногу все сильнее завладевала отцом, но Анна, судя по всему, ничего не замечала. Он был с ней еще более нежен и предупредителен, чем когда-либо, и это пугало меня, потому что я объясняла его поведение неосознанными укорами совести. Лишь бы только ничего не случилось в течение еще трех недель. А там мы переедем в Париж, Эльза тоже, и; если Анна и отец не передумают, они поженятся. В Париже будет Сирил, и, как здесь Анна не могла помешать мне его любить, так и там она не сможет помешать мне с ним встречаться. В Париже у него была комната, далеко от дома, где жила мать. Я уже рисовала себе окно, открывающееся прямо в голубое и розовое небо — неповторимое небо Парижа, воркующих на карнизе голубей и нас с Сирилом вдвоем на узкой кровати...

Глава седьмая

Несколько дней спустя отец получил записку от одного нашего приятеля с приглашением встретиться в Сен-Рафаэле и выпить вместе аперитив. Отец немедленно сообщил нам об этом, обрадованный возможностью вырваться ненадолго из нашего добровольного, но отчасти и вынужденного уединения. Я рассказала Эльзе и Сирилу, что в восемь часов мы будем в «Солнечном баре», и, если они приедут туда, они нас там застанут. На беду, Эльза была знакома с упомянутым приятелем, и это подогрело ее желание явиться в бар. Я стала опасаться осложнений и сделала попытку ее отговорить. Все напрасно.

— Шарль Уэбб меня обожает, — объявила она с детским простодушием. Если он меня увидит, он тем более уговорит Реймона вернуться ко мне.

Сирилу было безразлично — ехать или не ехать в Сен-Рафаэль. Для него важно было одно — находиться там, где я. Я прочла это в его взгляде и не могла подавить горделивого чувства.

Мы выехали из дому около шести. Анна повезла нас в своей машине. Мне нравилась ее машина, большая открытая американская машина, отвечавшая не столько вкусу Анны, сколько требованиям рекламы. Зато моим вкусам она соответствовала вполне — в ней было множество блестящих мелочей, она была бесшумная, обособленная от всего мира и кренилась на крутых поворотах. К тому же мы все трое помещались на переднем сиденье, а я нигде не чувствовала такой тесной связи с другими людьми, как в машине. Все трое на переднем сиденье, чуть прижимая друг друга локтями, во власти общего наслаждения скоростью, ветром, а может быть — и общей смерти. Машину вела Анна, словно символизируя уклад нашей будущей семьи. Я не ездила в ее машине с того пресловутого вечера в Каннах, и это пробудило во мне воспоминания.

В «Солнечном баре» нас ждали Шарль Уэбб с женой. Он занимался театральной рекламой, его жена просаживала заработанные им деньги, причем с головокружительной быстротой и — на молодых мужчин. Он был просто одержим мыслью, как свести концы с концами, и вечно охотился за заработком. Было в нем от этого что-то беспокойное, торопливое, почти неприличное. Он долго был любовником Эльзы — несмотря на свою красоту, она не отличалась корыстью, и ее беспечность в денежных делах привлекала Шарля.

Его жена была злокой. Анна прежде с ней не встречалась, и я тотчас подметила на ее прекрасном лице презрительное и на-смешливое выражение, какое обычно у нее появлялось в обществе. Шарль Уэбб, как всегда, болтал без умолку, по временам сверля Анну испытующим взглядом. Он явно недоумевал, что у нее может быть общего с юбочником Реймоном и его дочерью. Меня распирало от гордости при мысли, что еще минута, и он это узнает. Воспользовавшись паузой, отец склонился к нему и напрямик объявил:

— А у меня новость, старина. Пятого октября мы с Анной собираемся пожениться.

Остолбенев от изумления, тот переводил взгляд с одного на другого. Я была в восторге, его жена озадачена — она питала давнюю слабость к отцу.

— Поздравляю, — завопил наконец Уэбб во все горло. — Отличная мысль! Мадам, вы изумительная женщина! Посадить себе на шею такого шалопая! Официант! Мы должны это отпраздновать.

Анна улыбалась непринужденно, спокойно. И вдруг лицо Уэбба расплылось в улыбке — мне не было нужды оборачиваться.

— Эльза! Господи, да ведь это Эльза Макенбур, она меня не замечает! Реймон, ты только погляди, как она похорошела!

— Еще бы, — сказал отец тоном счастливого обладателя.

Потом все вспомнил, и его лицо омрачилось.

Анна не могла не уловить интонации отца. Она быстро отвернулась от него в мою сторону. Она уже собиралась заговорить на первую попавшуюся тему, когда я наклонилась к ней:

— Анна, ваша элегантность производит опустошение в сердцах; поглядите, вон тот мужчина не сводит с вас глаз.

Я сообщила это доверительным тоном — то есть достаточно громко, чтобы слышал отец. Он живо обернулся и заметил человека, о котором я говорила.

— Мне это не нравится, — заявил он и взял руку Анны в свою.

— Как они очаровательны! — с ироническим умилением заметила мадам Уэбб. — Шарль, вам не следовало нарушать покой этой влюбленной парочки. Достаточно было пригласить малютку Сесиль.

— Малютка Сесиль не приехала бы, — без обиняков заявила я.

— Почему? Завели себе дружка среди рыбаков? Она однажды видела, как я болтала с кондуктором автобуса, и с той поры относилась ко мне как к деклассированной особе — как к тем, кого она считала «деклассированными».

— А как же, — ответила я, делая над собой усилие, чтобы казаться

веселой.

— И кого же вы поймали в свои сети? Хуже всего было то, что она находила себя остроумной. Я начала злиться.

— Морские коты не моя специальность, но в остальном улов у меня недурен.

Воцарилось молчание. Его прервал невозмутимый, как всегда, голос Анны:

— Реймон, попросите пожалуйста, официанта подать соломинки. Без них нельзя пить апельсиновый сок.

Шарль Уэбб тут же подхватил разговор о прохладительных напитках. Моего отца душил смех — я это угадала по тому, как он уткнулся в свой стакан. Анна бросила на меня умоляющий взгляд. И как это принято у тех, кто был на волоске от ссоры, мы тотчас решили, что вместе пообедаем.

За обедом я много пила. Я хотела во что бы то ни стало забыть выражение лица Анны — встревоженное, когда она вглядывалась в отца, и затаенно благодарное, когда взгляд ее задерживался на мне. На все шпильки мадам Уэбб я улыбалась лучезарной улыбкой. Эта тактика сбивала ее с толку. Она стала выходить из себя. Анна знаком просила меня быть сдержанной. Она чувствовала, что мадам Уэбб готова закатить публичный скандал, а Анна не выносила скандалов. Но мне было не привыкать — в нашем кругу такие вещи считались делом обычным. Поэтому я с самым непринужденным видом слушала болтовню мадам Уэбб.

После обеда мы отправились в один из сен-рафаэльских ночных кабачков. Вскоре после нашего прихода появились Эльза с Сирилом. Эльза остановилась на пороге, громко заговорила с гардеробщицей и в сопровождении бедняжки Сирила стала пробираться между столиками. У меня мелькнула мысль, что она ведет себя не как влюбленная, а как уличная девка, но при ее красоте она могла себе это позволить.

— Это что еще за прощельяга? — спросил Шарль Уэбб. — Совсем еще молокосос.

— Это любовь, — залепетала его жена. — Счастливая любовь...

— Вздор, — резко сказал отец. — Просто очередная интрижка. Я посмотрела на Анну. Она разглядывала Эльзу спокойно, не-принужденно, как рассматривала манекенщиц, демонстрировавших ее модели, или просто очень молодых женщин. Без тени недоброжелательства. Я почувствовала прилив пылкого восхищения таким отсутствием мелочности и зависти. Впрочем, я вообще считала, что ей нечего завидовать Эльзе. Анна была в сто раз красивее, утонченнее ее. И так как я выпила, я ей

высказала это напрямик. Она с интересом взглянула на меня.

— Вот как? По-вашему, я красивее Эльзы?

— Еще бы!

— Что ж, это всегда приятно слышать. Но вы опять слишком много пьете. Дайте сюда стакан. Вас не очень огорчает, что здесь сидит ваш Сирил? Впрочем, видно, что ему скучно.

— Он мой любовник, — весело сказала я.

— Вы совсем пьяны. К счастью, пора домой!

Мы с облегчением распрощались с Уэббами. Состроив самую серьезную мину, я назвала мадам Уэбб «дорогая сударыня». Отец сел за руль, я уронила голову на плечо Анны.

Я думала о том, что она мне милее Уэббов и всех наших обычных знакомых. Что она лучше, достойнее, умнее их. Отец говорил мало. Наверняка вспоминал появление Эльзы.

— Она спит? — спросил он Анну.

— Как дитя. Она вела себя довольно сносно. Если не считать несколько слишком прямолинейного намека на котов...

Отец рассмеялся. Воцарилось молчание. И потом снова раздался голос отца:

— Анна, я люблю вас, люблю вас одну. Вы мне верите?

— Не повторяйте мне этого так часто, я начинаю бояться...

— Дайте мне руку.

Я хотела было выпрямиться и предостеречь: «Нет, только не сейчас, когда машина идет над пропастью». Но я была навеселе. Запах духов Анны, морской ветер в моих волосах, на плече царапинка — след нашей с Сирилом любви. Достаточно причин, чтобы быть счастливой и молчать. Меня клонило в сон. Эльза и бедняжка Сирил, наверное, трясутся на мотоцикле, который мать подарила ему в прошлый день рождения. Эта мысль почему-то растрогала меня до слез. Машина Анны была такая уютная, с таким мягким ходом, в ней так хорошо спалось... А вот кому, должно быть, сейчас не спится, так это мадам Уэбб! Быть может, в ее годы я тоже буду платить мальчишкам, чтобы они меня любили, потому что любовь самая приятная, самая настоящая, самая правильная вещь на свете. И неважно, чем ты за нее платишь. Важно другое — не озлобиться, не завидовать, как она завидует Эльзе и Анне. Я тихонько засмеялась. Анна чуть согнула руку в плече. «Спите», — повелительно сказала она. И я уснула.

Глава восьмая

Наутро я проснулась в прекрасном настроении, чувствуя только небольшую усталость и легкую тяжесть в затылке от вчерашних излишеств. Как всегда по утрам, солнечный свет заливал мою кровать; я сбросила одеяло, скинула пижамную куртку и подставила голую спину солнечным лучам. Положив щеку на согнутую руку, я видела прямо перед собой крупное плетение простыни, а подальше на плитках пола неуверенно копошившуюся мушку. Лучи были теплыми и ласковыми, казалось, они проникают до самых костей и прилагают особые старания, чтобы меня согреть. Я решила, что все утро пролежу вот так, не шевелясь.

Мало-помалу вчерашний вечер все отчетливей оживал в моей памяти. Я вспомнила, как сказала Анне, что Сирил мой любовник, и рассмеялась: если ты пьян, можешь говорить правду — никто не поверит. Вспомнила я и мадам Уэбб и мою стычку с ней; я привыкла к женщинам подобного сорта: в этой среде в таком возрасте они зачастую бывали отвратительны из-за своего безделья и стремления взять от жизни побольше. Рядом со сдержанной Анной она показалась мне еще более убогой и надоедливой, чем всегда. Впрочем, этого и следовало ожидать: я не представляла себе, какая из приятельниц отца способна была долго выдерживать сравнение с Анной. В обществе людей подобного рода приятно провести вечер можно либо в подпитии, когда ты для забавы затеваешь с ними спор, либо если ты состоишь в интимных отношениях с кем-либо из супругов. Отцу было проще — для них с Уэббом это был спорт. «Угадай, кто сегодня ужинает и спит со мной? Малютка Марс, которая снималась у Сореля. Захожу я к Дюпюи и как раз...» Отец с хохотом хлопал его по плечу: «Счастливчик! Она почти так же хороша, как Элиза». Мальчишество. Но мне нравилось, что они оба вкладывают в него запал, увлеченность. И даже когда нескончаемо долгими вечерами Ломбар на террасе кафе уныло исповедовался отцу: «Я любил ее одну, Реймон! Помнишь весну, перед тем как она уехала... Глупо, когда мужчина всю свою жизнь посвящает одной женщине!» — в этом было что-то непристойное, унижительное, но человеческое — двое мужчин изливают друг другу душу за стаканом вина.

Друзья Анны, должно быть, никогда не говорили о самих себе. Да они наверняка и не попадали в такого рода истории. А если уж они говорили о чем-либо подобном, то, наверное, посмеивались от стыдливости. Я чувствовала, что готова разделить с Анной снисходительное отношение к

нашим знакомым любезную и прилипчивую снисходительность.... И однако, я понимала, что к тридцати годам буду скорее похожа на наших друзей, чем на Анну. Я задохнулась бы от такой неразговорчивости, равнодушия, сдержанности. Наоборот — лет этак через пятнадцать, уже немного пресыщенная, я склонюсь к обаятельному и тоже уже немного уставшему от жизни мужчине и скажу:

— Моего первого любовника звали Сирил. Мне было неполных восемнадцать, на море стояла такая жара...

Я с удовольствием представила себе лицо этого мужчины. С крошечными морщинками, как у отца. В дверь постучали. Я проворно накинула пижамную куртку и крикнула: «Войдите». Это была Анна — она осторожно держала в руках чашку.

— Я решила, что чашка кофе вам не повредит... Ну как вы — не слишком скверно?

— Превосходно, — ответила я. — Кажется, вчера вечером я немного перебрала.

— Как всегда, когда вы бываете на людях... — Она засмеялась. Впрочем, должна признаться, что вы меня развлекли... Этот вечер был бесконечным.

Я уже не замечала ни солнца, ни вкуса кофе. Разговор с Ан-ной всегда полностью поглощал мои мысли, я переставала наблюдать себя со стороны, хотя только она и заставляла меня сомневаться в себе. Рядом с ней я переживала насыщенные и трудные минуты.

— Сесиль, вам интересно с людьми вроде Уэббов или Дюпюи?

— Вообще-то их манеры несносны, но сами они забавны. Она тоже следила за копошившейся на полу мушкой. Наверное, эта мушка — калекка, подумала я. У Анны были тяжелые веки с длинными ресницами — ей было легко казаться снисходительной.

— Вы никогда не замечали, насколько однообразны и... как бы это выразиться... тяжеловесны их разговоры? Вам не надоедает слушать все эти рассуждения о контрактах, о девицах, о светских увеселениях?

— Видите ли, — сказала я, — я десять лет провела в монастыре, а эти люди ведут безнравственный образ жизни, и для меня в этом все еще таится какая-то приманка.

Я не решалась признаться, что это мне просто нравится.

— Но вот уже два года... — сказала она. — Впрочем, тут бесполезно рассуждать или морализировать, это вопрос внутреннего ощущения, шестого чувства...

Как видно, я была его лишена. Я явственно сознавала, что в этом плане

мне чего-то не хватает.

— Анна, — сказала я внезапно. — Как, по-вашему, я умная? Она рассмеялась, удивленная прямолинейностью вопроса.

— Ну конечно же! Почему вы спросили?

— Если бы я была набитой душой, вы все равно ответили бы то же самое, вздохнула я. — Я иногда так остро чувствую ваше превосходство...

— Это всего лишь вопрос возраста. Было бы весьма печально, если бы у меня не было чуть больше уверенности в себе, чем у вас. Я могла бы подпасть под ваше влияние.

Она засмеялась. Я была уязвлена.

— А может, в этом не было бы ничего страшного!

— Это была бы катастрофа, — сказала она.

Она вдруг отбросила шутливый тон и в упор взглянула на меня. Мне стало не по себе. Есть люди, которые в разговоре с тобой непременно смотрят тебе в глаза, а не то еще подходят к тебе вплотную, чтобы быть уверенными, что ты их слушаешь, — я и по сию пору не могу свыкнуться с этой манерой. Кстати сказать, их расчет неверен, потому что я в этих случаях думаю лишь об одном — как бы увильнуть, уклониться от них, я бормочу: «Да-да», переминаюсь с ноги на ногу и при первой возможности убегаю на другой конец комнаты; их навязчивость, нескромность, притязания на исключительность приводят меня в ярость. Анна, по счастью, не видела необходимости завладеть мною таким способом — она ограничивалась тем, что смотрела мне прямо в глаза, и мне становилось трудно сохранять в разговоре с ней тот непринужденный беспечный тон, какой я на себя напускала.

— Знаете, — как обычно кончают мужчины вроде Уэбба?

Я мысленно добавила: «И моего отца».

— Под забором, — отшутилась я.

— Наступает время, когда они теряют свое обаяние и, как говорится, «форму». Они уже не могут пить, но все еще помышляют о женщинах; только теперь им приходится за это платить, идти на бесчисленные мелкие уступки, чтобы спастись от одиночества. Они смешны и несчастны. И вот тут-то они становятся сентиментальны и требовательны... Скольких я уже наблюдала, когда они совершенно опускались.

— Бедняга Уэбб! — сказала я.

Мне было не по себе. И в самом деле — такой конец угрожал и моему отцу! Во всяком случае, угрожал бы, не возьми его Анна под свою опеку.

— Вы об этом не задумывались, — сказала Анна с едва заметной сострадательной улыбкой. — Вы редко думаете о будущем — правда ведь?

Это привилегия молодости.

— Пожалуйста, не колите мне глаза моей молодостью, — сказала я. — Я никогда не прикрывалась ею — я вовсе не считаю, что она дает какие-то привилегии или что-то оправдывает. Я не придаю ей значения.

— А чему вы придаете значение? Своему покою, независимости?

Я боялась подобных разговоров, в особенности с Анной.

— Ничему. Вы же знаете, я почти ни о чем не думаю.

— Я немного сержусь на вас и вашего отца... «Никогда ни о чем не думаю... ничего не умею... ничего не знаю». Вам нравится быть такой?

— Я себе не нравлюсь. Я себя не люблю и не стремлюсь любить. Но вы иногда усложняете мне жизнь, и за это я почти злюсь на вас.

Она, задумавшись, стала что-то напевать, мелодия была знакомая, но я не могла вспомнить, что это.

— Что это за песенка, Анна, это меня мучает...

— Сама не знаю. — Она снова улыбнулась, хотя не без некоторого разочарования. — Полежите, отдохните, а я буду продолжать изучение интеллектуального уровня семьи в другом месте.

«Еще бы, — думала я. — Отцу-то это легко». Я так и слышала, как он отвечает: «Я ни о чем не думаю, потому что люблю вас, Анна». И как ни умна Анна, этот ответ наверняка кажется ей убедительным. Я медленно, со вкусом потянулась и снова уткнулась в подушку. Вопреки тому, что я сказала Анне, я много размышляла. Конечно, она сгущает краски: лет через двадцать пять мой отец будет симпатичным седовласым шестидесятилетним мужчиной, питающим некоторую слабость к виски и красочным воспоминаниям. Мы будем выезжать вместе. Я стану верить ему свои похождения, он — давать мне советы. Я сознавала, что вычеркиваю Анну из нашего будущего: я не могла, мне не удавалось найти ей место в нем. Я не могла представить себе, как в нашей беспорядочной квартире, то запустелой, то заваленной цветами, в которой снуют посторонние люди, звучат чужие голоса и вечно валяются чьи-то чемоданы, воцарится порядок, тишина, гармония — то, что Анна вносила повсюду как самое драгоценное достояние. Я страшно боялась, что буду умирать от скуки. Правда,

с тех пор как благодаря Сирилу я узнала настоящую, физическую любовь, я гораздо меньше опасалась влияния Анны. Это вообще избавило меня от многих страхов. Но я больше всего боялась скуки и покоя. Нам с отцом для внутреннего спокойствия нужна была внешняя суета. Но Анна никогда бы ее не потерпела.

Глава девятая

Я подробно рассказываю об Анне и о самой себе и почти не говорю об отце. Но не потому, что не он был главным действующим лицом в этой истории, и не потому, что он мало меня интересует. Никого в жизни я не любила так сильно, как его, и из всех чувств, какие обуревали меня в ту пору, чувства к нему были самыми стойкими, глубокими, и ими я особенно дорожила. Но я слишком хорошо его знаю, чтобы с легкостью болтать о нем, да и слишком мы похожи друг на друга. Однако именно его характер я в первую очередь должна объяснить, чтобы как-то оправдать его поведение. Его нельзя было назвать ни тщеславным, ни эгоистичным. Но он был легкомыслен — неисправимо легкомыслен. Я не могу даже сказать, что он был не способен на глубокие чувства, что он был человек безответственный. Его любовь ко мне не была пустой забавой или просто отцовской привычкой. Ни из-за кого он так не страдал, как из-за меня. Да и я сама — я потому и впала в отчаяние в тот памятный день, что он как бы отмахнулся от меня, отворотил от меня свой взгляд... Ни разу он не пожертвовал мною во имя своих страстей. Ради того чтобы проводить меня вечером домой, он не однажды упускал то, что Уэбб называл «роскошной возможностью». Но в остальном — не стану отрицать — он был во власти своих прихотей, непостоянства, легкомыслия. Он не мудрствовал. Он все на свете объяснял причинами физиологическими, которые считал самыми важными. «Ты сама себе противна? Спи побольше, поменьше пей». Точно так же он рассуждал, если его страстно влекло к какой-нибудь женщине, — он не пытался ни обуздать свое желание, ни возвысить

его до более сложного чувства. Он был материалист, но при этом деликатный, чуткий, и, по сути дела, очень добрый человек.

Желание, которое влекло его к Эльзе, тяготило его, но отнюдь не в том смысле, как можно предположить. Он не говорил себе:

«Я собираюсь обмануть Анну. А значит, я ее меньше люблю». Наоборот: «Экая досада, что меня так тянет к Эльзе. Надо побыстрее добиться своего, иначе мне не миновать осложнений с Анной». При этом он любил Анну, восхищался ею, она внесла перемену в его жизнь, вытеснив череду доступных неумных женщин, с какими он имел дело в последние годы. Она тешила одновременно его тщеславие, чувственность и чувствительность, потому что понимала его, помогала ему своим умом и опытом; но зато я далеко не так уверена, сознавал ли он, насколько

серьезно ее чувство к нему! Он считал ее идеальной любовницей, идеальной матерью для меня. Но приходило ли ему в голову смотреть на нее как на «идеальную жену» со всеми вытекающими отсюда обязательствами? Сомневаюсь. Убеждена, что в глазах Сирила и Анны он, как и я, был неполноценным в эмоциональном отношении. Однако это вовсе не мешало ему кипеть страстями, потому что он считал это естественным и вкладывал в это все свое жизнелюбие.

Когда я замышляла изгнать Анну из нашей жизни, я не беспокоилась о нем. Я знала, что он утешится, как утешался всегда: ему куда легче перенести разрыв, чем упорядоченную жизнь. По сути дела, его, как и меня, подкосить и сокрушить могли только привычка и однообразие. Мы с ним были одного племени, и я то убеждала себя, что это прекрасное, чистокровное племя кочевников, то говорила себе, что это жалкое выродившееся племя прожигателей жизни.

В данный момент отец страдал — во всяком случае, изнывал от досады. Эльза стала для него символом прошлой жизни, молодости вообще, и прежде всего его собственной молодости. Я чувствовала, что он умирает от желания сказать Анне: «Дорогая моя, отпустите меня на один денек. С помощью этой девки я должен убедиться, что еще не вышел в тираж. Стоит мне вновь почувствовать усталость ее тела, и я успокоюсь». Но он не мог этого сказать. И не потому, что Анна была ревнивицей, твердыней добродетели и к ней нельзя было подступиться с подобными разговорами; просто, согласившись жить с отцом, она, несомненно, поставила условия: что с бездумным развратом покончено, что он не школьник, а мужчина, которому она вручает свою судьбу, и, следовательно, он должен вести себя соответственно, а не быть жалким рабом собственных прихотей. Кто мог бы упрекнуть за это Анну? Это был вполне естественный, здоровый расчет, но это не могло помешать отцу желать Эльзу. Желать ее чем дальше, тем больше, желать ее вдвойне, как всякий запретный плод.

И конечно же, в эту пору в моей власти было все уладить. Достаточно было посоветовать Эльзе, чтобы она ему уступила, и под любым предлогом на один вечер увезти Анну в Ниццу или еще куда-нибудь. Дома нас встретил бы отец, успокоенный и снова преисполненный нежности к предмету узаконенной любви или любви, которая, во всяком случае, станет узаконенной по возвращении в Париж. Ведь и с тем, чтобы остаться такой же любовницей, как другие — то есть временной, Анна тоже никогда бы не примирилась. Ох, как усложняло нам жизнь ее чувство собственного достоинства, самоуважения!...

Но я не советовала Эльзе уступить отцу и не просила Анну съездить со мной в Ниццу. Я хотела, чтобы скрытое желание выплеснулось наружу и толкнуло отца на ложный шаг. Я не могла снести высокомерия, с каким Анна относилась к нашей прошлой жизни, того, что она походя презирала все, что составляло наше с отцом счастье. Я хотела не то чтобы унижить ее, но заставить принять наш взгляд на жизнь. Пусть узнает, что отец ее обманул, и трезво оценит это событие как чисто плотскую прихоть, а не как покушение на ее личное достоинство и честь. Если уж ей хочется любой ценой оказаться правой, пусть позволит нам быть виноватыми.

Я даже делала вид, что не замечаю мучений отца. Главное нельзя было допустить, чтобы он вздумал мне исповедоваться, пытался превратить меня в свою сообщницу, заставил вести переговоры с Эльзой и удалить Анну.

Мне приходилось делать вид, что я считаю его любовь к Анне священной, как и саму Анну. И должна признаться, что для меня это не составляло труда. Мысль, что он может обмануть Анну, наполняла меня ужасом и смутным восхищением.

Тем временем мы проводили счастливые дни, я не упускала случая подогреть страсть отца к Эльзе. Лицо Анны больше не пробуждало во мне укор совести. Иногда я начинала думать, что она смирилась с происшедшим и наша совместная с ней жизнь сложится в соответствии не только с ее вкусами, но и с нашими. С другой стороны, я часто виделась с Сирилом, и мы тайком любили друг друга. Запах сосен, шум моря, прикосновение его тела... Его начало мучить раскаяние, роль, которую я ему навязала, была ему противна, он соглашался на нее только потому, что я убедила его, будто это необходимо ради нашей любви. Все это требовало от меня двоедушия, игры в молчанку с самой собой, но почти никаких усилий и лжи. (А ведь я уже говорила, что никогда не судила себя ни за что, кроме поступков).

Я не задерживалась на этом периоде, потому что, перебирая воспоминания, боюсь наткнуться на такие, от которых на меня накатывает тоска. И так уже, стоит мне вспомнить счастливый смех Анны, то, как она была мила со мной, и я чувствую, что меня словно ударили — нанесли удар ниже пояса, — мне больно, я задыхаюсь от злости на самое себя. Я так близка к тому, что называют муками нечистой совести, что мне приходится искать спасения в простых жестах — закурить сигарету, поставить пластинку, позвонить приятелю. Мало-помалу мысли мои отвлекаются. Но мне не нравится, что я вынуждена цепляться за свою короткую память, за легковесность своего ума, вместо того чтобы с ними бороться. Я не люблю признаваться в этих своих свойствах даже тогда, когда могла бы

порадоваться им.

Глава десятая

Удивительное дело — судьба любит являться нам в самом недостойном или заурядном обличье. В то лето она избрала обличье Эльзы. Что ж, красивое или, вернее, привлекательное обличье. К тому же Эльза великолепно смеялась, заразительно, самозабвенно, как это свойственно одним только недалеким людям.

Я быстро уловила, как действует этот смех на отца, и подстрекала Эльзу выжимать из него все возможное, когда нам предстояло «застигнуть» ее с Сирилом. «Как только услышите, что мы с отцом близко, — наставляла я ее, ничего не говорите, просто смейтесь». И едва раздавался этот упоенный смех, лицо отца мгновенно искажалось от ярости. Роль режиссера по-прежнему увлекала меня. Все мои удары попадали точно в цель: при виде Эльзы и Сирила, которые выставляли напоказ свои несуществующие, но вполне правдоподобные отношения, мы оба с отцом бледнели, вся кровь отливала от моего лица, так же как от его, это была загнанная вглубь жажда обладания, которая хуже любой муки. Сирил, Сирил, склонившийся над Эльзой... Это зрелище разрывало мне сердце, а между тем я сама подготавливала его вместе с Сирилом и Эльзой, не подозревая, какой силой оно обладает. На словах все легко и просто; но стоило мне увидеть профиль Сирила, его смуглую, гибкую шею, склоненную над приподнятым к нему лицом Эльзы, и я готова была отдать все на свете, чтобы этого не было. Я забывала, что сама это подстроила.

Но если отбросить эти эпизоды, повседневная жизнь была заполнена доверием, нежностью и — мне больно произнести это слово — счастьем Анны. Да, никогда я не видела ее более счастливой — она вверяла себя нам, эгоистам, не подозревая ни о наших бурных желаниях, ни о моих гнусных мелких интригах. На это я и рассчитывала: из сдержанности, гордости она инстинктивно избегала каких бы то ни было ухищрений, чтобы крепче привязать отца, какого бы то ни было кокетства, кроме одного — была красивой, умной и нежной. Мало-помалу я начинала ее жалеть. Жалость — приятное чувство, устоять перед ним так же трудно, как перед музыкой военного оркестра. Можно ли ставить мне его в вину?

Однажды утром необычайно взволнованная горничная принесла мне записку от Эльзы: «Все улаживается, приходите!» Мне почудилось, будто страслась катастрофа — я ненавижу развязки. И все-таки я пришла к Эльзе на пляж, лицо ее сияло торжеством:

— Час назад я наконец-то встретила с вашим отцом.

— Что он вам сказал?

— Сказал, что ужасно жалеет о том, что произошло, что вел себя похамски. Это ведь правда?

Мне пришлось согласиться.

— Потом наговорил мне комплиментов, как умеет он один... Знаете, таким небрежным тоном, очень тихо, словно ему тяжело говорить... таким тоном...

Я пресекла ее идиллические воспоминания.

— К чему он клонил?

— Ни к чему!... То есть нет, он пригласил меня выпить с ним в поселке чашку чая, чтобы доказать, что я не таю на него обиды, что я женщина современная, с широкими взглядами...

Представления моего отца о широте взглядов молодых рыжеволосых женщин развеселили меня.

— Что тут смешного? Идти мне туда или нет?

Я едва не ответила ей: «А мне какое дело?» Потом сообразила, что она видит во мне виновницу успеха своих маневров. Справедливо или нет, но я разозлилась.

— Не знаю, Эльза. Все зависит от вас, не спрашивайте меня каждую минуту, что вам делать — можно подумать, будто это я заставляю вас...

— А кто же еще, — сказала она. — Это все благодаря вам... Восхищение, звучавшее в ее голосе, вдруг перепугало меня.

— Идите, если вам хочется, но, ради бога, не рассказывайте мне больше ни о чем!

— Но ведь... ведь его надо освободить от этой женщины..... Сесиль!

Я обратилась в бегство. Пусть отец делает что хочет, пусть Анна выпутывается как знает! К тому же у меня было назначено свидание с Сирилом. Мне казалось, что только любовь может избавить меня от цепящего страха.

Сирил молча обнял меня, увлек за собой. Рядом с ним все было просто все заполнялось страстью, наслаждением. Немного погодя, прильнув к нему, к его золотистому, влажному от пота телу, сама обессиленная и потерянная, точно потерпевшая кораблекрушение, я сказала ему, что ненавижу себя. Я сказала это с улыбкой, потому что это была правда, но я не мучилась, а испытывала какую-то приятную покорность судьбе. Он не принял моих слов всерьез.

— Все это пустяки. Я так люблю тебя, что смогу тебя переубедить. Я тебя люблю, так люблю...

Ритм этой фразы неотступно преследовал меня за обедом:

«Я тебя люблю, так люблю». Вот почему, несмотря на все старания, я только смутно припоминаю подробности этого обеда. На Анне было платье сиреневого цвета, как тени под ее глазами, как сами ее глаза. Отец смеялся, явно умиротворенный: для него все складывалось к лучшему. За десертом он объявил, что под вечер ему надо отлучиться в поселок. Я мысленно улыбнулась. Я устала, я решила — будь что будет. Мне хотелось одного — искупаться.

В четыре часа я спустилась на пляж. На террасе я столкнулась с отцом он собирался в поселок; я ничего ему не сказала. Даже не посоветовала вести себя осторожней.

Вода была ласковая и теплая. Анна не показывалась — должно быть, рисовала у себя в комнате свои модели, а отец тем временем любезничал с Эльзой. Через два часа солнце уже перестало греть, я поднялась на террасу, села в кресло и развернула газету.

В эту минуту я и увидела Анну; она появилась из леса. Она бежала, кстати сказать, очень плохо, неуклюже, прижав локти к телу. У меня вдруг мелькнула непристойная мысль — что бежит старая женщина, что она вот-вот упадет. Я оцепенела: она скрылась за домом в той стороне, где был гараж. Тогда я вдруг поняла и тоже бегом устремилась за нею.

Она уже сидела в своей машине и включала зажигание. Я ринулась к ней и повисла на дверце.

— Анна, — сказала я, — Анна, не уезжайте, это недоразумение, это моя вина, я объясню вам...

Она меня не слушала, не смотрела на меня, она наклонилась, чтобы освободить тормоз.

— Анна, вы нам так нужны!

Тогда она выпрямилась — лицо ее было искажено. Она плакала. И тут я вдруг поняла, что подняла руку не на некую абстракцию, а на существо, которое способно чувствовать и страдать. Когда-то она была девочкой, наверное немного скрытной, потом подростком, потом женщиной. Ей исполнилось сорок лет, она была одинока, она полюбила и надеялась счастливо прожить с любимым человеком десять, а может, и двадцать лет. А я... ее лицо... это было делом моих рук. Я была потрясена, я как в ознобе колотилась о дверцу машины.

— Вам не нужен никто, — прошептала она, — ни вам, ни ему. Мотор завелся. Я была в отчаянии, я не могла ее так отпустить.

— Простите меня, умоляю вас...

— Простить? Вас? За что?

Слезы градом катились по ее лицу. Она, как видно, этого не замечала, черты ее застыли.

— Бедная моя девочка!...

Она на секунду коснулась рукой моей щеки и уехала. Машина скрылась за углом дома. Я была в смятении, в отчаянии... Все произошло так быстро! И какое у нее было лицо, какое лицо...

За моей спиной раздались шаги — это был отец. Он успел стереть следы Эльзиной помады и стряхнуть с костюма хвойные иглы. Я обернулась, я налетела на него:

— Подлец, подлец! И разрыдалась.

— Что случилось? Неужели Анна? Сесиль, скажи мне, Сесиль...

Глава одиннадцатая

Мы встретились только за ужином, оба тяготясь так внезапно обретенной возможностью снова побыть с глазу на глаз. У меня кусок не шел в горло, у него тоже. Мы оба чувствовали, что нам необходимо вернуть Анну. Лично я просто не могла бы долго вынести ни воспоминания о ее потерянном лице, какое я увидела перед отъездом, ни мысли о ее горе и моей вине. Я позабыла все свои терпеливые ухищрения и хитроумные планы. Я была совершенно растеряна, выбита из колеи и такое же чувство читала на лице отца.

— Как ты думаешь, она надолго бросила нас? — спросил он наконец.

— Она наверняка уехала в Париж, — сказала я.

— В Париж... — задумчиво прошептал отец.

— Может, мы ее никогда больше не увидим...

Он в смятении поглядел на меня и через стол протянул мне руку.

— Представляю, как ты сердисься на меня. Сам не знаю, что на меня нашло. Мы с Эльзой возвращались лесом, и она... В общем, я ее поцеловал, а в эту минуту, наверное, подошла Анна...

Я его не слушала. Отец и Эльза, обнявшиеся в тени сосен, казались мне какими-то водевильными, бесплотными персонажами — я их не видела. Единственно реальным за весь этот день, до боли реальным было лицо Анны — ее лицо в последний миг, искаженное мукой лицо человека, которого предали. Я взяла сигарету из отцовской пачки и закурила. Вот еще одна вещь, которой не терпела Анна, — когда курят за едой. Я улыбнулась отцу.

— Я все понимаю, ты не виноват... Как говорится, минута слабости. Но надо, чтобы Анна нас простила, вернее, простила тебя.

— Как же быть? — спросил он.

Вид у него был глубоко несчастный. Мне стало его жаль, потом стало жаль себя; как могла Анна нас бросить, неужели хочет наказать нас за то, что в конце концов было просто мимолетной шалостью? Разве у нее нет обязанностей по отношению к нам?

— Мы ей напишем, — сказала я, — и попросим у нее прощения.

— Гениальная мысль! — воскликнул отец.

Наконец-то он нашел способ избавиться от покаянного бездействия, в котором мы томились вот уже три часа.

Не dokonчив ужина, мы сдвинули в сторону скатерть и при-боры, отец

принес большую настольную лампу, ручки, чернильницу, свою личную почтовую бумагу, и мы сели друг напротив друга, только что не с улыбкой, настолько уверовали благодаря этой мизансцене в возможность возвращения Анны. Перед окном выписывала мягкие кривые летучая мышь. Отец наклонил голову и начал писать.

Не могу вспомнить без мучительной для меня жестокой издевки письма, преисполненные добрых чувств, которые мы в тот вечер написали Анне. При свете лампы, вдвоем, прилежные и не-умелые, как школьники, мы трудились в тишине над невыполнимым заданием: «Вернуть Анну». Тем не менее мы сотворили два шедевра на эту тему, полные чистосердечных извинений, любви и раскаяния. Закончив письмо, я уже почти не сомневалась, что Анна не сможет устоять, что примирение неизбежно. Я уже воображала сцену прощения, окрашенную стыдливостью и юмором... Это произойдет в Париже, в нашей гостиной, Анна войдет и...

Раздался телефонный звонок. Было десять часов вечера. Мы посмотрели друг на друга с удивлением, потом с надеждой: это же Анна, она звонит, что она простила, она возвращается. Отец ринулся к телефону, весело крикнул: «Алло!»

А потом упавшим голосом повторял только: «Да, да. Где? Да, да». Я тоже встала, во мне зашевелился страх. Я смотрела на отца, на то, как он машинально проводит рукой по лицу. Наконец он осторожно положил трубку и повернулся ко мне.

— Случилось несчастье, — сказал он, — ее машина разбилась на дороге в Эстерель. Они не сразу узнали ее адрес! Позвонили в Париж, а там им дали здешний телефон...

Он говорил машинально, на одной ноте, я не осмеливалась его перебить.

— Катастрофа произошла в самом опасном месте. Там как будто это уже не первый случай... Машина упала с пятидесятиметровой высоты. Было бы чудом, если бы она осталась жива...

Остаток этой ночи вспоминается мне как в каком-то кошмаре. Дорога, освещенная фарами, застывшее лицо отца, двери больницы... Отец не разрешил мне посмотреть на нее. Я сидела на скамье в приемном покое и глядела на литографию с видом Венеции. Я ни о чем не думала. Сестра рассказала мне, что с начала лета это уже шестая катастрофа в этом самом месте. Отец не возвращался.

И я подумала, что снова — даже в том, как она умерла, — Анна оказалась не такой, как мы. Вздумай мы с отцом покончить с собой — если предположить, что у нас хватило бы на это мужества, — мы пустили бы

себе пулю в лоб и при этом оставили бы записку с объяснением, чтобы навсегда лишить виновных сна и покоя. Но Анна сделала нам царский подарок — предоставила великолепную возможность верить в несчастный случай: опасное место, а у нее неустойчивая машина... И мы по слабости характера вскоре примем этот подарок. Да и вообще, если я говорю сегодня о самоубийстве, это довольно-таки романтично с моей стороны. Разве можно покончить с собой из-за таких людей, как мы с отцом, из-за людей, которым никто не нужен — ни живой, ни мертвый. Впрочем, мы с отцом никогда и не называли это иначе как несчастным случаем.

На другой день часов около трех мы вернулись домой. Эльза с Сирилом ждали нас, сидя на ступеньках лестницы. Они поднялись нам навстречу — две нелепые, позабытые фигуры: ни тот, ни другая не знали Анну и не любили ее. Вот они стоят с их ничтожными любовными переживаниями, в двойном соблазне своей красоты, в смущении. Сирил шагнул ко мне, положил руку мне на плечо. Я посмотрела на него — я никогда его не любила. Он казался мне славным, привлекательным, я любила наслаждение, которое он мне дарил, но он мне не нужен. Я скоро уеду, прочь от этого дома, от этого юноши, от этого лета. Рядом стоял отец, он взял меня под руку, и мы вошли в дом.

Дома был жакет Анны, ее цветы, ее комната, запах ее духов. Отец закрыл ставни, вынул из холодильника бутылку и два стакана. Это было единственное доступное нам утешение. Наши покаянные письма все еще валялись на столе. Я смахнула их, они плавно опустились на пол. Отец, направлявшийся ко мне с полным стаканом в руке, поколебался, потом обошел их стороной. Это движение показалось мне символическим, с отпечатком дурного вкуса. Я взяла стакан обеими руками и залпом его осушила. Комната была погружена в полумрак, у окна маячила тень отца. О берег плескалось море.

Глава двенадцатая

А потом был солнечный день в Париже, похороны, толпа любопытных, траур. Мы с отцом пожимали руки старушкам — родственницам Анны. Я с любопытством разглядывала их: они, наверное, приходили бы к нам раз в году пить чай. На отца глядели с соболезнованием: Уэбб, должно быть, распустил слухи о предстоящей свадьбе. Я заметила Сирила — он поджидал меня у входа. Я уклонилась от встречи с ним. Мое раздражение против него было ничем не оправдано, но я не могла его подавить... Окружающие скорбели о нелепом и трагическом происшествии, и, так как у меня оставались сомнения насчет того, была ли эта смерть случайной, все эти разговоры доставляли мне удовольствие.

На обратном пути в машине отец взял мою руку и сжал в своей. Я подумала: «У тебя не осталось никого, кроме меня, у меня — никого, кроме тебя, мы одиноки и несчастны» — и в первый раз заплакала. Это были почти отрадные слезы, в них не было ничего общего с той опустошенностью, страшной опустошенностью, какую я испытала в больнице перед литографией с видом Венеции. Отец с искаженным лицом молча протянул мне платок.

Целый месяц мы жили как вдовец и сирота, обедали и ужинали вдвоем, никуда не выезжали. Изредка говорили об Анне: «А помнишь, как в тот день...» Говорили с осторожностью, отводя глаза, боялись причинить себе боль, боялись — вдруг кто-нибудь из нас сорвется и произнесет непоправимые слова. За эту осмотрительность и деликатность мы были вознаграждены. Вскоре мы смогли говорить об Анне обычным тоном, как о дорогом существе, с которым мы были счастливы, но которое отозвал господь бог. Словом «бог» я заменяю слово «случай», но в бога мы не верили. Спасибо и на том, что в этих обстоятельствах мы могли верить в случай.

Потом в один прекрасный день у одной из подруг я познакомилась с каким-то ее родственником — он мне понравился, я ему тоже. Целую неделю я повсюду появлялась с ним с постоянством и неосторожностью, присущими началу любви, и отец, плохо переносивший одиночество, тоже стал бывать повсюду с одной молодой и весьма тщеславной дамой. И началась прежняя жизнь, как это и должно было случиться. Встречаясь, мы с отцом смеемся, рассказываем друг другу о своих победах. Он, конечно, подозревает, что мои отношения с Филиппом отнюдь не платонические, а я

прекрасно знаю, что его новая подружка обходится ему очень дорого. Но мы счастливы. Зима подходит к концу, мы снимем не прежнюю виллу, а другую, поближе к Жуан-ле-Пен.

Но иногда на рассвете, когда я еще лежу в постели, а на улицах Парижа слышен только шум машин, моя память вдруг подводит меня: передо мной встает лето и все связанные с ним воспоминания. Анна, Анна! Тихо-тихо и долго-долго я повторяю в темноте это имя. И тогда что-то захлестывает меня, и, закрыв глаза, я окликаю это что-то по имени: «Здравствуй, грусть!»